ИЗ АР-
ХИВА
В.В.
ПОР-
ТУГА-
ЛОВА

лето

Леонид
Лавров

Леонид Лавров. **Лето**



Лавров, Леонид
Л13 Лето. — (Из архива В.В. Португалова). — М.: Летний сад, 2011. — 112 с. ISBN 978-5-98856-122-4

Во внутренней рецензии на первую книгу Леонида Лаврова «Уплотнение жизни» (1931), известный советский литературовед Анатолий Тарасенков писал: «Талантливые стихи, проникнутые, однако, методологически порочной философией противопоставления чувственного созерцания — рационализму, плановости. <…> Лавров является попутническим поэтом с ~~значительным~~ креном вправо» (РГАЛИ ф. 2587 оп. 2 ед. хр. 34), и тем не менее рекомендовал включить эту книгу в план выпуска издательства «Федерация».

В 1935 году Лавров «за участие в контрреволюционной группе» был приговорен к трём годам исправительно-трудовых лагерей (по одному делу с Ярославом Смеляковым).

Книга «Лето», которую вы держите в руках, символизировала бы возврат автора в лоно официальной советской литературы, несмотря на «резко выраженный созерцательный импрессионизм» (опять Тарасенков). Ее рукопись, уже предварительно одобренная Александром Фадеевым, должна была обсуждаться на редсовете издательства «Советский писатель» 25 июня 1941 года…

Печатается по авторской машинописи из архива В.В. Португалова.

Книга издана на средства Т.И. Исаевой и В.И. Орлова.

Подписано в печать 09.03.2011
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1
Гарнитура AcademyC. Печ. л. 3,5.

© Летний сад, 2011

Внутренние рецензии 1941 года

Леонид Лавров. «Лето»

Л. Лавров — поэт, несомненно, одаренный, со своим индивидуальным видением мира. Книгу его следует издать. Не все в ней, однако, достойно издания, кое-что надо выбросить. Прежде всего, следует убрать претенциозный эпиграф ко всей книге. Ни в коем случае — в интересах автора и читателя — не стоит печатать поэму «Вступление». Она слишком физиологична, автор видит только вещи и физиологические проявления жизни. И, несмотря на претензии автора связать все это в общее и цельное представление **о нашей стране** и **о нашем времени**, получается обратное: такое восприятие могло иметь место в любое время и в любой стране, и восприятие это ограниченное.

Не надо издавать прозаической поэмы «Лето». Это тоже слишком рафинированно, дробно (не обобщено) и производит в сборнике странное впечатление. (С другой стороны, я сохранил бы в сборнике прозаический отрывок «Зимней почтой». Это очень поэтично, прозрачно, целомудренно и насквозь пронизано чувством).

Есть у Лаврова несколько «городских» стихов, сделанных под влиянием Заболоцкого и (как всякие «городские» стихи) заставляющих предполагать издевку и двусмысленность. Это «Пейзаж», «Природа» и особенно «Хитрость» и «Куда глаза глядят». Эти стихи надо безусловно выбросить. Надо изъять бессмысленное, претенциозное, плохо написанное стихотворение «Воздух каждую из гланд сковал». Безусловно портит сборник отрывок из пьесы «Станция счастья». В нем нет цельности, и он назойливо сделан «под Сельвинского».

Наконец, некоторые стихи нуждаются в частичной правке (отдельных строф или выражений), — все это отмечено мною в тексте.

При всем том, после этих изъятий и исправлений, останется цельный сборник стихов, разнообразных по теме, очень индивидуальных и в то же время общезначимых. Снова повторяю: сборник заслуживает издания, — это талантливый поэт.

А. Фадеев, 1941

Леонид Лавров

Новая книга Л. Лаврова, представленная в рукописи, снова убеждает нас в несомненной своеобразной одаренности этого поэта.

Как все, что делал Лавров — эта книга спорна. Самое его отношение к жизни может вызывать разноречивое понимание. С одной стороны, это — пристальное, рационалистическое всматривание в природу, желание охватить какие-то невидимые простому глазу объективные отношения и связи разнороднейших явлений в действительность, а с другой стороны это — тщательное, крайне субъективистское процеживание непосредственных впечатлений через произвольно построенную сетку своих чувств, вкусов, пристрастий. Так у читателя создается ощущение, что его погружают в холодную воду капризных поэтических ассоциаций, в которых неумолимость объективных законов и утонченный релятивизм субъективных прихотей перемешаны, перепутаны с редкой изощренностью. И в этой спорности творчества Лаврова есть привлекательная смелость и подлинное своеобразие. Многие стихи из цикла «Творчество», «Лето» и др. превосходны и заслуживают опубликования. Но рядом — бездна эстетства, холодного французского резонерства (в современном — Поль Валери, что ли! — духе). Особенно показательна в этом отношении проза Лаврова, вкрапленная в стихотворный контекст.

Все сказанное может создать впечатление, что Лавров погружен в какие-то отвлеченные изыскания, не имеющие никакого отношения к нашей современности и поэтому неинтересные и вполне самоценные. Это заблуждение. Современность живет в его творчестве в своем подлинном противоречивом существе, хотя восприятие современности ограничено у Лаврова своеобразием и известной однолинейностью его тем, всегда связанных с природой. Но поэт вовсе не обязан возделывать все поле жизни, он имеет абсолютное право на возделывание ограниченного, но близкого особенностям его индивидуальности и биографии, участка действительности. Важно, чтобы его миропонимание, его философия были шире этого участка, были воспитаны всею нашей жизнью.

Лаврова отличает здоровое, радостное, хотя и очень осложненное рефлекцией, восприятие природы, глубокая заинтересованность во всем, что поддается его поэтическому наблюдению. Равнодушие и пустая декламация чужды его риторической манере. Лавров очень по-своему ощущает почти микроскопическую связь человека и природы. Ему мешает

только некоторая созерцательность и некоторое рационализирование по поводу самых простых вещей. Это мешает глубоко ощутить цельность его отношения к природе.

Можно еще много говорить. Мне кажется, что рукопись Лаврова, очищенная от эстетства, холодной изощренности надуманных стихов и скверной прозы, может быть издана в виде маленькой книжки стихов. Это будет интересный, умный, своеобразный сборник.

Я говорю все это совершенно объективно, потому что мой поэтический вкус враждебен большей части того, что делает Лавров, но это уже из области не слишком обязательных субъективных пристрастий.

Д. Данин, 12 апреля 1941

Леонид Лавров «Лето». Стихи

Талантливость Л. Лаврова не подлежит сомнению. У него встречаются превосходные строки, метафоры, сравнения, есть несколько хороших от начала до конца стихов. Но большинство его стихов носит, я бы сказал, экспериментальный характер. Они зачастую малодоступны, иногда малосодержательны: пейзаж, картина улицы, огород описаны по принципу декоративности. Стихи часто перегружены образами и напоминаю творчество имажинистов.

В ряде стихов Л. Лаврова заметно влияние стихов Багрицкого о рыбах, о весне, о природе (взято как биологический процесс). В других произведениях Л. Лаврова видно воздействие Маяковского. «Куда глядят глаза» явно напоминает «Мелкую философию на глубоких местах».

Вот примеры — строфы из Лаврова:

В ручей стекаются капли, каплюшки,
А он окурки тащит. И куда собственно?
Добро б не ручей, а Плюшкин. —
Зачем ручью собственность?
....
Клен стоит. Может лет сто выстоял.
А что в результате стояния
Корни да листья
Вот и все достояние.

Маяковским же навеяна ритмика стиха «Воздух каждую из гланд сковал».

Наибольшее впечатление произвели на меня стихи «Среди зимы», «Хитрость», «Природа». Если бы таких было достаточно для сборника, я бы стоял за его издание. Но их очень мало. Некоторые стихи заставляют вспомнить о Нарбуте, Зенкевиче и обо всей этой части акмеистов.

Странно читать у Лаврова почти рядом такие строчки:

«Посуда для чая грустит на балконе,
Чай не разлит, не готов, не заварен,
Но блюдца, сверкая, раскрыли ладони,
И угли, как птицы, поют в самоваре».
(«Природа»)

Очень хорошо!
Или:

«Обои, стены — все во мгле,
Чулки, белье — все спит вокруг
И позабытый на столе
Спит электрический утюг.
Но вот мелеет ночь... рассвет...
Тепло сошло уже на нет.
Встречает медленное утро
Вдруг объявившаяся утварь:
Диван и стол и книжный шкаф
И вот уже как резвый конь,
В печи приветливо заржав,
В трубу бросается огонь».
(«Среди зимы»)

Очень хорошо! А в других стихах:

«Знакомая, прозрачная клинопись журавлей;
Пригорьковатая пряность воздушных течений;
Сургучные печати рябиновых гроздей
Сиреневые пуговицы доцветающих анабиоз;

Земляные и розовые раковины сыроежек;
Крашеные в крапинку домики мухоморов
Левитановские березки, тронутые золотухой»
И т.д. (*«Осень»*).

Этакий каталог вычурных образов. И он идет без передышки до конца.

Или вот:

Председатель приходит взглянуть на работу
— Даете лошадей, товарищ начальство!
— Вот как, вот как, — удивляется он, — косилка...
— Косилка в полном порядке, товарищ
(*«Утро»*)

Что если это проза? Да и дурная!

В книгу включены и два прозаических этюда, нечто вроде стихотворений в прозе, описание лета, память о любимой, о свидании с ней. В книге есть и отрывок из пьесы: очень плохой отрывок, написанный спотыкающимся, косноязычным белым стихом.

В общем, очень противоречивая, лишенная стилевого единства и цельности книга. Тут же и песни, написанные смешанные стилем: тут кое-что от Лаврова, а нечто от Жарова. При всем желании, издать сборник нельзя, так как его здесь нет, его надо собирать.

Лавров — очень трудный случай, ибо, как сказано вначале, дарование его несомненно. Но, видимо, отсутствие единства, направления помешало ему дать нечто цельное.

Ф. Левин, 20 мая 1941

НОБУЖ — это не только наука об уплотнении жизни*

Все они — Леонид Лавров, Константин Митрейкин, Николай Асанов, Борис Уральский, Василий Цвелев, Виктор Щепотев — были констромольцами.

Нет, я не оговорился, не комсомольцами, а именно констромольцами.

Констромол — это «конструктивистский молодняк» несколько способных молодых поэтов, группировавшихся около ЛЦК — Литературного Центра Конструктивистов, а вернее, около Ильи Сельвинского.

Конечно, признанным вождем и ментором «констромольцев» был И. Л. Сельвинский. Но эта молодежь тянулась к Эдуарду Багрицкому. И очень часто в кунцевской квартире Багрицкого можно было встретить их и поодиночке, и собравшихся вместе. Они верили литературному вкусу Эдуарда Георгиевича и любили его как старшего товарища.

Чаще всего я встречал там высокого, поблескивающего очками Асанова, веселого, экспансивного Уральского и вихрастого, насупленного Лаврова (Митрейкин в то время служил в Красной Армии).

Любопытно было слышать их споры, длившиеся часами, и достигавшие предельного накала. Но почти всегда страсти мгновенно утихали после трех-четырех коротких фраз, брошенных Багрицким, и начиналась читка стихов «по кругу», после которой дискуссия вспыхивала с еще большей силой.

* * *

Одним из частых посетителей дома Багрицкого был молодой поэт Леонид Лавров...

Леонид Алексеевич Лавров родился в Москве 11 ноября 1906 года. Умер под Москвой, в Переделкино, 13 сентября 1943 года, тридцати семи лет от роду.

* Опубликовано (кроме постскриптума) в «Литературной России» от 10 декабря 1965 года, №50 (154). Посткриптум воспроизводится по авторской машинописи В. В. Португалова из его архива.

Творческое наследие Л. Лаврова невелико. Большинство стихов, им написанных, вошло в книги «Уплотнение жизни» (1931) и «Золотое сечение» (1933). В творческой биографии поэта были года активной, упорной работы, но были и годы молчания, и потому в общей сложности написал он немного. Да и обращался он со своими рукописями до удивления небрежно — часто терял их, дарил даже случайным знакомым, рвал в клочья стихи, переставшие нравиться ему самому. И если бы не жена поэта — Сусанна Павловна, которая пройдя трудный путь эвакуационных скитаний в годы Отечественной войны, сумела сберечь небольшую папку, где кроме стихов, нам известных, оказалось и около двух десятков произведений Лаврова, никогда не публиковавшихся, этой подборки не существовало бы.

* * *

Леонид Лавров — поэт, несомненно, одаренный и интересный.

В ранних стихах его чувствуется влияние поэзии С. Есенина. Оттуда и мягкость, и лирическая непосредственность, и обостренное восприятие родной природы, и доброе отношение к людям:

Зима с глухими перезвонами,
Шурша осинами и елями,
Скрипя березами и кленами
Прошла вихрастыми метелями.
....
Мне каждый старец будто дедушка
С знакомым обликом и голосом.
У проходящей мимо девушки
Целую мысленно я волосы.

Несколько позже в стихах Лаврова начинают появляться рационалистические нотки, образы, идущие уже не от сердца, а от ума. Мягкие, музыкальные ритмы сменяются жесткими, резкими.

Я задыхался. Я больше не мог. Радость
Раздула мне легкие, застряла в глотке,
Разделила мне нервы от лада до лада
На большие басы и дискантные нотки.

Я вышел на улицу. Толпа у забора
Попеременно катила усы или бороду.
Но набитый весельем, я брызгал задором
И, вписанный в город, я бегал по городу.

Это «головное» чувствовалось в стихах других «констромольцев» (особенно у К. Митрейкина и В. Щепотева). Ярко выраженная индивидуальность и энергетический напор мастера невольно подавляли творческое «я» «подмастерий».

Но рядом с Сельвинским стоял другой учитель — романтик и природолюб зоркий поэт Багрицкий. От него-то и перекочевали в стихи Лаврова точность и острота видения:

Кусты осыпает лягушечий гам,
Граненые раки, шальные ужи,
Чернея как уголь, плывут к берегам,
И рыбы скользят под водой, как ножи.

В самом конце 1929 года Лавров знакомится и часто встречается с талантливым и своеобразным поэтом Егором Оболдуевым. Этот поэт, напечатавший за всю свою жизнь одно-единственное стихотворение, оказал на Лаврова огромное влияние. Оболдуевское «Живописное обозрение», произведение, написанное в оригинальное поэтической манере, раскрыло перед Лавровым новые творческие пути. Именно из «Живописного обозрения» вытекает тот художественный прием, который мы видим в поэме Лаврова «НОБУЖ» («НОБУЖ — это Наука об Уплотнении Жизни»...). Образы его стихов становятся сочными, выпуклыми, объемными, я бы даже сказал — осязаемыми. У поэта обостряются зрение и слух, он умеет

...представить
Особенность каждой вещи,
Подробности каждого сердца,
Причины любого пульса,
Любых изменений звука,
Тяжесть цвета и формы.
Чтоб изучить донельзя.

Привычки огня и ветра,
Характеры света и тени,
Интимность прохлады сараев,
Пейзаж стола за обедом,
Мозаику неба ночью,
И его географию в полдень.
....
Каждый клочок природы,
Осколок, обрывок мира,
Он для меня источник
Еще неразгаданных формул.

По-особенному теперь вглядывается поэт в окружающий его мир вещей и явлений, и жирными, прямо-таки фламандскими мазками живописует и

...Резиновый шелест мака
И кожаный хруст капусты.

Он видит:

Насторожився белое ухо,
Сидит, как большая собака,
Рядом со мной подушка...

Таким Л. Лавров переходит во вторую свою книгу — «Золотое сечение». Таким он проходит через всю свою последующую творческую жизнь, твердо опираясь на эту обретенную им поэтическую манеру.

* * *

Говоря о влиянии Е. Н. Оболдуева на творчество Леонида Лаврова, необходимо заметить, что это никак не умаляет литературных заслуг последнего, ибо находки Оболдуева он использовал по-своему, по-лавровски, и еще потому, что звучание поэтических голосов Лаврова и Оболдуева различно. Кстати, сам Егор Николаевич никогда не предъявлял Л. Лаврову никаких претензий, считая, что этот, пройденный им, прием может обогатить творчество и других поэтов, раскрыв еще одну из

возможностей русского стиха, прибавив в палитру изобразительных средств еще дополнительные краски.

У Леонида Лаврова свое, законное место в русской советской поэзии. Ведь это он, а никто другой сказал, что

...уже близится время,
Когда жизнерадостность вспыхнет
В каждом движеньи тела.
Когда будет еще наука,
Не физика, не математика, —
Наука искусства видеть
Диалектику каждой вещи,
Которая изучит кипенье
Ветра в листве березы,
Влияние шороха тени
На рост человеческой грусти,
Безумную страсть самовара
К семейству веселых чашек...
Которая научит слышать,
Вырвет из тайное тайных
Тысячу новых красок,
Умнет ощущение мира
Выше положенной нормы,
Чтоб через поры жизни
Проходил человек, как искра
Электромагнитного тока.

* * *

Литературная известность — явление изменчивое и преходящее. Сегодняшнее молодое поколение читателей стихов не знает поэта Леонида Лаврова. Как и многие другие, он приходит сейчас к молодому человеку нынешнего дня со страниц «Литературной России». Через год издательство «Советский писатель» выпустит сборник его стихов, любовно подготовленный другом поэта Николаем Асановым. Думается, что прочитав эту публикацию, читатели встретят книгу Лаврова, как старого и доброго знакомого.

Постскриптум

В предисловии к сборнику стихов Леонида Лаврова «Из трех книг» Николай Асанов, упомянув о моей статье, предваряющей публикацию стихов Л. Лаврова в еженедельнике «Литературная Россия» (10.12.65, № 50), пишет:

«...меня несколько огорчило, что организатор публикации Валентин Португалов, без достаточной аргументации сближает поиск новой формы, проводившейся всю жизнь Леонидом Лавровым, с сильным якобы влиянием на творчество Лаврова почти не публиковавшегося поэта Егора Оболдуева. Это бездоказательно еще и потому, что Португалов не приводит стихов Оболдуева, так что утверждение о влиянии приходится принимать на веру».

Непонятно, почему Николай Асанов столь категорически отрицает влияние на Л. Лаврова стихов Е. Оболдуева. Только потому, что последний почти не публиковался? Это аргумент явно несолидный, ибо, нужно ли говорить, что в истории русской и даже мировой поэзии мы, при желании, отыщем прецеденты, когда неопубликованные произведения оказывали весьма серьезное влияние на творчество поэтов печатающихся. В данном случае мы имеем дело именно с таким явлением.

Малые размеры газетной статьи в «Литературной России» не дали мне возможности сделать обстоятельный анализ творчества Л. Лаврова. Поэтому, чтобы окончательно разрешить вопрос о влиянии «на творчество Лаврова почти не публиковавшегося поэта Егора Оболдуева», я воспользуюсь тем, что сейчас, через сорок два года после написания, «Живописное обозрение» наконец-то опубликовано, и позволю себе привести здесь, рядом с ним, хотя бы только два отрывка из стихов Л. Лаврова, подтверждающие мою мысль:

«...Сургучные печати рябиновых гроздей;
Сиреневые пуговицы доцветающих снабиоз;
Зеленые и розовые раковины сыроежек;
Крашенине в крапинку домики мухоморов;
Левитановские березки тронутые золотухой;
Кленовые листья, разрезанные на фестоны;
Огороды, превращенные в музеи диковин;
Голубоватый фаянс капустных вилков;

Розовоногая морковь, меднолобые тыквы;
Картофельные железы, вылущенные из грядок…»
(«Записи о невозможном»)

«…Охряные дикие рябины, снеговые вьюнки,
Кровяные гвоздики. Пунцовые шерстистые клевера.
Ослепительные, ветвистые лучи золотых розог.
Небесные лепестки цикория, усатые чины,
Облачные василисники, султаны раковых шеек…
Как спесиво напыщены эти львиные зевы!
Как прохладна розово-белая пена картофеля!
Эй вы, там, под землей, добродушные, толстые клубни!
Я проникаюсь к вам какой-то новой любовью!»
(«По краскам августа»)

Схоже ли это с оболдуевским «обозрением» по манере написания? — Безусловно!

Схож ли аспект поэтического видения? — Одинаков!

«Живописное обозрение» написано в 1927 году. У Л. Лаврова этот поэтический прием впервые появляется в поэме «НОБУЖ», в 1929 году, и далее становится главным во всем его творчестве. Поэмы «Записи о невозможном» (лето 1931), «История одного проекта» (июль 1932), «Наташин отпуск» (сентябрь 1932), «По краскам августа» (1939) — целиком построены на этом приеме.

Вряд ли нужно добавлять еще что-нибудь.

Валентин Португалов

В рукописи 1163 года сказано:
«ино бо лето, ино же год»
то есть время.

ОТКРОЙСЯ, ТРУДНЫЙ МИР ОТВАГИ,
ЗАБЕЙСЯ ВЕТЕР, ПОЛНЫЙ ВЛАГИ,
ПРИЛЯГ ЛЮБОВЬ, СОЙДЯСЬ В КОЛЬЦО,
ЛОЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, СТРАСТЕЙ ЗИГЗАГИ,
ЗДЕСЬ ЧУВСТВА ПАДАЙТЕ, КАК ФЛАГИ,
НА ДОБРОЕ ЕЕ ЛИЦО,
НА СВЕТЛОЕ ЛИЦО БУМАГИ!

Творчество

***

Еще да здравствуют леса,
Дела цветов и поведенье ягод,
Бесшумность трав, деревьев голоса,
Дни без утрат, события без тягот.

И этот мир, густой и непролазный,
С томленьем нив и замираньем злаков.
Обычаи за то, что всюду разны,
А воздух потому, что одинаков.

И времени да здравствует итог,
Что все уходит далее, скользя...
Да здравствует забытое и то,
Чего забыть никак уже нельзя.

Да здравствует земная явь песка,
Безмерные немые облака,
Ты, мне далекая, что так близка,
И ты вот, близкая, что далека.

Да здравствует тенистый шелест книг
И жизнь, что солнцем налита,
И страсти невесомый миг,
Нам раскачавший сердце на лета.

И страны, здравствует ваш круг
Затем, что есть вам путь добра,
Народов многократный дух
Еще да здравствует... Ура!

А мы за то, что нас облепит
Галоп ветров и рысь дождя,
Ребяческий омоет лепет
И приподнимет речь вождя.

И знамени да здравствует древко,
Всегда с войной готового к войне.
Да здравствует вершимое легко,
А трудности да здравствуют вдвойне.

И нет и нет успокоенья мне...
Навстречу, мир, событиями брызнь!
Затем, что в замечательной стране
Веду я удивительную жизнь!

Творчество

Я не писал стихов. Я говорил, что прежде
Землей, водой и небом овладей,
Чтоб узнавать деревья по одежде
И по глазам разгадывать людей.

Упрямый мир, я вник в его лукавства,
В его приемы скрытых перемен,
В его еще неведомые яства,
В непрочность дружб и тщательность измен.

Я каждый день держал ему экзамен,
Я позволял ему меня стегать,
И то, чего умом постичь не мог, — глазами
Учился непрерывно постигать.

Я пустяки считал за катастрофы
И беды принимал как пустяки.
Я здравствовал. Я говорил: теки
Неслышно, жизнь, в слова и строфы.
Всему есть исполнения и сроки,
Но раз весь мир ты вкладываешь в строки,
Бессмертными становятся стихи.

Полеты

Годы мои перебрались за двадцать,
Мне уже в годах не разобраться,
Мне бы не рваться уж больше к окну,
Мне бы квартиру, службу, жену.
Но чуть тишина долетит с перелеска,
Чуть над окошком порхнет занавеска,
Чуть окрылится шуршанием местность,
Я снова готовлюсь лететь в неизвестность,
И снова игрою малюсеньких трещин
Волнуют меня хлопотливые вещи.
Чашка, вот скажут, севрский фарфор,
И я уж жалею, теряюсь опять:
— Ах, — повторяю — фар и фор,
Да с таким названьем можно летать.
Зайдет ли беседа о самом случайном,
Об эдаком, знаете, трижды решенном.
А на столе самовар мой и чайник
Стоят и смеются, как Пат с Паташоном.
И если подумать про годы сначала,
Чего только в жизни у нас не бывало.
Добредешь вот до девушки, выпалишь разом:
— В любовь и горение сердце одето!
А девушка стихнет, смеряет глазом,
— Оставьте, мол, милый, выдумка это.
На небо ли взглянешь, грустные мысли,
Туча по небу идет густая,
А ветер надуется, крякнет, свистнет,
И туча в синь на глазах растает,
И снова шагаешь, дивишься лету,
Грусти поищешь — и грусти нету.
Вот так и обыденна жизнь пролетая,

Но как мы мечтали, моя золотая.
Мы думали — жизнь это плевое дело,
Чашке бы крылья и чашка б летела,
Но за ценную цену ничтожнейших трещин
Земным притяжением куплены вещи.
И я, заболевши крылатой заботой,
Твоею любовью плачу за полеты,
Но чуть над окошком порхнет занавеска,
Чуть доплывет разговор перелеска,
Чуть над трубой закривляется дым,
Чуть ветер ударит мне по плечу,
Скажет: — Ну, как же, приятель, летим?
И я отвечаю: — Конечно, лечу!

Лето

Лето

Представьте себе легкий
шелест травы и представьте
себе, что этот шелест
проникает в самую глубь
вашего сердца.

§

Летом называется самое жаркое время года, в северной части полушария падающее на июнь, июль и август месяцы.

§

В рукописи 1163 года сказано: «ино бо лето, ино же год», то есть время.

§

Лягушка, заглотав слишком большую личинку, не двигалась. Распластавшись в воде, она предавалась тупому, блаженному оцепенению насытившегося животного. Ее вытянутые вперед и лишь слегка согнутые передние лапки лежали почти на поверхности пруда и это придавало ей смешную, аляповатую позу человека, с черезчур деловым и несколько обалделым видом сидящего за прилавком. Острый край осоки касался ее задней правой ноги и она лениво поводила ею, пытаясь освободиться от прикосновения.

Темные узелки пауков бежали по сиреневой легкой воде. Их тонкие ноги слегка вдавливали поверхностное натяжение, но нигде не прорывали его. И сами они — эти водяные глупые пауки, никогда не ткавшие паутины, безалаберно бежали то впра-

во, то влево и, казалось, танцевали какой-то замысловатый танец для рыб, у которых не было ни подходящего пола, ни ног для танца. Кое-где солнечные блики уходили в воду концентрическими наслоенными друг на друга кругами; переливаясь, они напоминали оранжевые кольца, которые видишь, нажимая на яблоко глаза.

А там, на том берегу, за голубеющими кустами ивняка, весь мир затянутый плывущими поднимающимися испарениями, представлялся глазу застекленным. Зеленый ромб поля покато уходил вниз к более темным лесным массивам, где контуры деревьев, видимые сквозь колеблемый воздух, казалось склеивались друг с другом.

Почти не раскачиваясь, прямо вверх струились в разгоряченном воздухе травы. Обочины дорог, овраги, ложбины, небольшие бугры терялись в порхающих красках цветов. Ребячески наивные, синие глаза вероник мелькали то тут, то там; подорожник бесстрашно рос у пропасти колеи и кровяные гвоздики стояли, как сторожа у маленьких полевых, похожих на замки, муравейников. Их темные тычинки двигались внутри венчика незаметно, как стрелки на часах. Муравьи взбирались на цветы и бегали по красному циферблату не думая о времени.

§

Цветок назывался thalictrum aguilegifolium. Я сразу узнал его по прохладным перистым листьям, по скользкому, жесткому стеблю, по легкому голубоватому соцветию, поднимавшемуся на уровень моих плеч. Внизу, там где начинался стебель растения, темнело пространство сырой, взрытой червями земли, на которой лежало несколько лиловатых тычинок. Разбросанные в виде какого-то рисунка, неясно напоминающего форму соцветия, они как бы являлись примитивным изображением уже покинутой ими жизни.

Плотные тени осин и ольх перекрещиваясь лежали на окружающих блеклых травах. Их грифельные от постоянной влаги стволы были покрыты табачной зеленью мхов, а черная, слишком уж черная земля издавала острый кислотный запах сырых мест. Все молчало здесь. И найденный мной цветок стоял вытянувшись, насторожившись, словно прислушиваясь к этому выразительному молчанию. Или, казалось, окутанный в этот полусумрак, томящийся в дреме своего бытия, он грезил о солнечном просторе, шумливо бегущем ко всем горизонтам, там, за пределами веток и листьев.

Я остановился пораженный этой, открытой мной жизнью. Я вспомнил, что русское название цветка было Василистник голубковый и, что он принадлежит к распространенному семейству лютиковых.

Это семейство, широко раскиданное по земной поверхности, произрастает главным образом в холодных, умеренных странах. У большинства его видов в соках текут летучие, острые, часто ядовитые вещества. Некоторые же из видов, как например горицвет применяются в медицинском искусстве. Корни и листья горицвета содержат горькое на вкус вещество — аданидин, из которого изготовляется средство, регулирующее деятельность сердца.

Прошло мгновение, пока я припомнил все это. Оглянувшись я снова увидел вокруг себя зыбкий, процеженный сквозь кисею листвы свет солнца, полосы теней и бледную зелень. Окружающая меня тишина лежала таким толстым непроницаемым слоем, что я мог при желании не верить в пространство за ее пределом. Какая-то птица, невидимая в ветвях, рискнула попробовать свой голос и сконфуженно замолчала, смущенная общим покоем.

Когда я вновь взглянул на цветок Василистника, стоявшего на вытяжку передо мной, я ощутил невольное и все же глубокое смущение. Было что-то трогательное в его растопыренных перистых листьях и что-то грустное в летучем, вянущем облике соцветия.

— Нет, — сказал я, припоминая Монтеня, — я не люблю и не уважаю печали.

Я повернулся и пошел прочь по направлению к свету, оставляя за собой легкий всплеск веток и слабое бульканье листьев, укрывающих эту печальную заводь.

С тех пор протекло много безоблачных, глубоководных солнечных дней. Я видел в своей жизни столько солнца, сколько ни один слепец не видел темноты. И все же, за лучезарными, лучистыми телами дней месяцев, лет, в моей памяти сохранился теневой, виденный мной образ мнимого одиночества. И не раз я еще возвращался к нему и, пристально вглядываясь в окружающий его колорит, пытался разгадать сущность печалей.

§

Золотые, низкие, расщепленные солнца одуванчиков несли уже в своей яркости отцветание. Уже трепетный огонь яблонь голубоватой плесенью струился на землю. Было что-то прощальное в изгибах литых росистых головок лесных бубенчиков, а прозрачнейший стеарин ландышей, казалось, таял в загорелых руках продавщиц.

С каждым днем голубому ртутному червяку становилось тесней в его коконе. В иные полдни он вытягивал свое узкое, поблескивающее небом тело за тридцать делений, а в дни с перемежающимся течением облаков так возился в прозрачной своей скорлупе, что прохожий смотрел на него сосредоточенным взглядом зоолога, наблюдающего превращение кокона в бабочку.

Тот же день, когда с яблонь упал последний лепесток, а одуванчики вытянув целлулоидовые стебли, подставили ветру сотни крошечных парашютов, тот день, в который я по всему городу не мог найти ни одного букета ландышей, а термометр, висевший у входа моего дома, был разбит камнем провалившегося на экзаменах пятиклассника, тот день я отметил днем лета.

Утро

Личиночные шурупы, плоскотелые шайбы,
Хрящеватая голубизна шариковых подшипников,
Негритянские губы зубчатых передач,
Трогательные на ощупь бородавки заклепок.
Все мне знакомо в этом союзе предметов,
Я вновь познаю их весомость и сущность,
Я замкнут в эту окружность контакта
И я навертываю гайку справа налево.
Масленка не пытается скрыть любопытства,
Нос ее вытянут в воздух, как хобот.
Но гайка, она упряма, как время.
— Чорт, — говорю я, — что вы хотите, гражданка!
И я дую в нее как дети в свистульку,
Потом я заглядываю ей в дырку, как в лупу.
Пейзаж скользит по нарезке спиралью.
Мир дыряв, думаю я, дыряв, как свистулька.
Но все его дыры влекут мое любопытство.
О, как сочны эти скважины существующего!
— Теперь, — обращаюсь я к гайке, — понятно:
Ваша нарезка в обратную сторону.
Председатель приходит взглянуть на работу.
— Даете лошадей, товарищ начальство!
— Вот как, вот как, — удивляется он, — косилка...
— Косилка в полном порядке, товарищ.
....
....

Утро открывает прохладе все краны,
Руки мои держат вожжи, как счастье.
Мир течет мне навстречу, плескаясь:
Ключистая свежесть булькает в рощах,

Игольчатая роса прошивает растенья.
Как после пробега дымится их зелень.
Колокольчики качают синие шлемы,
Солнечными каскадами брызгают зверобои.
Конские щавели раздувают метелки,
Кажется животные спрятались в землю
И дразнят оттуда природу хвостами.
«Трак» — перевожу я регулятор, и птицы
Разматывают линию полета тесемкой.
«Трак» — перевожу и второй регулятор,
И нож уходит в траву, как в воду.
Треск брызгает искрами в зелень,
Шатун колотится радостно и безтолково,
Клевер стряхивает шерстяные головки,
Навзничь опрокидывается золото зверобоев,
Истерически вздрагивая, подпрыгивают ромашки,
Лепестки их цепляются друг за друга,
Капли росы скользят по ним, как слезинки.

Мир струится навстречу, плескаясь.

О, как они цепки, объятья работы!
— Да здравствует утро! — кричу я пространству.
— Да здравствует время,— отвечает мне ветер.
Он бежит, захлебываясь от восторга, за мною,
Он топчет растенья и фырчет как лошадь.
Нож стрекочет в былинках о славе.
О лете грохочут оркестры кузнечиков.
И колокольчики, засыпая, лепечут о солнце.

Вероника

«Пафф», — делают липы. — «Пафф», — повторяет ветер.
Меланхоличность течет в полости облаков,
Их тела движутся, сжимаясь и разжимаясь.
Солнце проваливается в их бездумные интервалы
И световая буря катится по листве.
— Вероника! — кричу я: — Вероника, ты обязательна!
Пауки качаются в паутинах, как в люльках.
Сережками свисают на нитках тела их.
Мир растит по ответам их стройность.
Праздник напоминает сегодня природа,
И этот выходной день наш похож на рожденье.
В золотые жилеты разряжены осы,
Жуки в аквамариновых фраках бесценны.
Роща поймана в тени, как в невод.
Плюшевые мхи выстилают в ней землю
И шишки, акробатически делая сальто,
Бесшумно падают с елок, не ушибаясь.

Березовые пни торчат кое-где попарно,
Как трусики, перевернутые кверху ногами.

Грудой бирюлек представляется муравейник.
Коричневые зерна их рассыпаются на дорогу
И кажется ветры играют в бирюльки.
«Пафф»,— делают липы. — «Пафф»,— повторяет роща.
«Хах-ха-ха»,— хохочут заливчато листья,
Ветер щекочет им крошечные ладони
И смеховая буря катится по листве.
— Вероника! — кричу я, — Вероника, ты обязательна!
— Тише,— говорит она, — тише!
Ты теперь совсем сумасшедший, Зиновий.

Красное платье ее разбито на клетки,
Она мне кажется сложенной из кирпичиков.
— Нет! — кричу я, нет, Вероника,
Это ты научила меня быть громким.
Завтра, что мне за дело до завтра,
Слышишь, я люблю тебя, Вероника,
Я еще разберу тебя по кирпичику!
«Пафф», — делают липы. — «Пафф», — передается в пространство.
«Хах-ха-ха», — хохочут заливчато листья.
Меланхоличность течет в полости облаков.
Солнце проваливается в их бездумные интервалы,
И две бесконечных бури борятся на земле.

***

Карамелью пахнут поля,
Карамелью насыщен воздух,
Живым моссельпромом лето
Развертывается перед глазами.
Я поднимаю ногу, и по подошве,
Шипя, пролетает ветер.
Я опускаю ногу, и по колено
Она увязает в зелень.
И, как сладкий воскресный пирог,
Мой след разрезает поле,
Так по его диагонали,
Через горящее лето
Я добираюсь к оврагу.
Здесь краски столпились в кучи,
В синие и желтые пятна.
Сгустились земные соки,
Здесь пауки голенасты
Как мавры или голландцы,
Лягушки свежи, как будто
Их только покрыли краской.
Здесь я наблюдаю, как кверху,
По зеленым стропилам былинок
Течет муравьиный мусор,
И как, овраг принимая за реку,
Танцует стрекозами воздух.
Так я забавляюсь минуту,
И ветер, пролетая, полощет
Пикейные воротнички ромашек,
Дешевенький ситец колокольчиков
И зеленое сукно тимофеевки.

Здоровье

Я задыхался. Я больше не мог. Радость
Раздула мне легкие, застряла в глотке,
Разделила мне нервы от лада до лада,
На большие басы и дискантовые нотки.

Я вышел па улицу. Толпа у заборов
Переменно катила усы или бороду.
Но, набитый весельем, я брызгал задором,
И, вписанный в город, я бегал по городу.

Центр — перестрелка моторов,
Каждая пядь, каждый шаг с бою.
То сырые, как репы, то сухие, как порох,
Лица тасуются между собою.

Окраина — какая смешная работа!
Поющая лестница. Не дом, а рухлядь.
Скрипит половицей дремота,
Как няня в истоптанных туфлях.

Я бегал, гремело веселье не уставая,
В каждой вещи радостный шум был;
В переулки, как кошка, кралась мостовая,
Как тупые собаки, прыгали тумбы.

Градусник... Я с ним говорил две минуты.
Но я был влюблен, мне показалось —
В нем свежесть апреля, в нем синие путы,
В нем небо на влагу перековалось.

Я был очарован, взволнован до дрожи,—
Бухгалтер тепла, морозного такта —
Он голубой! Он девушка! Мы как-то похожи,
То есть, я спутал, мы различаемся как-то.

Дорогая, вы спали, был градусник, был ветерок
Была высота кружевнее ажура.
И вы понимаете, я больше не мог,
Я изменил вам с температурой.

Что это было: я лазил на крышу, пел,
Вещи плясали, прыгали вещи,
Тишина то сгущалась, чернела у тел,
То становилась светлеющей.

Я был в исступленьи, сразу от шума и тишины,
Но вы извините мне это, —
Мы узнаем о здоровье страны
По сердцебиенью поэта.

Песня

У меня на родине,
Как пройдет зима,
Все сады в смородине,
В яблонях дома.

Треплет ветер дунувший
Флаг, зари алей.
Девушки и юноши
Солнца веселей.

На поля, на стройку ли,
В залежи руды,
Молодые, стойкие
Движутся ряды.

Ходят руки ловкие
Как одна рука,
Над полями легкие
Льются облака.

Хороша ты, родина,
Яблони, дома,
В пригоршни смородина
Просится сама.

Хороша ты пашнями,
Юная земля,
Флагами и башнями
Красного Кремля.

Прям и строг твой выговор,
И везде найдет
Недруг — смертный приговор,
Верный друг — почет.

Потому так молодо,
Так стрелы прямей,
Я встаю на золото
Пашень и полей.

Я мечту веду мою
Высью этих лет,
И земли, я думаю,
Краше в мире нет.

Расцветай же, родина,
Как душа сама,
Яблони, смородина,
В зелени дома.

Лейся ветер дунувший,
Флаг, зарей алей,
Запевайте, юноши,
Песню веселей!

Пейзаж

(1)

Уже промчались, просверкали
Шального ливня вертикали,
Уж буря с хлопаньем бича
Уходит дальше, топоча.

И молний нервы тихи, то есть
Они исчезли, успокоясь.
Лишь грома круглые раскаты
По туче катятся покатой.

Но в ней уже зияют окна,
В них солнца тянутся волокна...
Уж все дымится: крыша дома,
Забор и сад, в скирде солома...

И клубы пара, словно в бане,
Друг друга сталкивают лбами.
Вблизи террасы, у ступенек,
Простерт, как труп, намокший веник.

Здесь, трудолюбием чреваты,
Лежат мотыги и лопаты.
Играть мешая небосводу,
Лакает пес из бочки воду.

Блестят кусты, цветы, скамейки,
Над ними воздух льется клейкий,
Что полон дерзких испарений
Травы, навоза и сирени.

В нем снова скопом, как миры,
Висят и плачут комары.
Кружит пчела, расправив крылья,
И вьется мошек эскадрилья.

А на задворках в огороде
Взошли бобы рогулек вроде,
Горохи чуть поднялись с грядки,
И вся другая снедь в зачатке.

Два распахнули огурца
Совсем зеленые сердца.
Еще листвою небогаты,
В два плавника торчат салаты,

И лука тоненькие стрелы
Дают из луковиц прострелы.
Вокруг охрана палисада,
За ней цыплят и кур засада.

Туда еще по грязи топкой
Давно не хоженою тропкой
Ползут в бессмысленном маневре
Дождем разбуженные черви.

А там ручьев идет игра,
Хоть выжми, улица мокра.
Там, воздвигая грязи груды,
Мальчишки делают запруды.

В своем степенстве неуклюжем
Гусыни шествуют по лужам,
Они гогочут — го-го-го!
И это все и ничего.

Природа

Направо, налево дома и сараи,
Заборы, кусты, огородные грядки.
Приличье стирая, чинность стирая,
Селенье на зелень легло в беспорядке.

Народ еще здесь не заметен, не слышен,
Звонит вдалеке холодок под косою,
Утреннее солнце прыгает по крышам,
Кусты и деревья фыркают росою.

Посуда для чая грустит на балконе,
Чай не разлит, не готов, не заварен,
Но блюдца, сверкая, раскрыли ладони,
И угли, как птицы, поют в самоваре.

Я удивляюсь, думаю нонче:
Сила у жизни откуда такая,
С прошлым покончив, с горем покончив,
Эпическим маршем она протекает.

Бегут в огороде грядка за грядкой,
Дымятся ботвою редиски, горохи,
Сияет листва молочной подкладкой,
И прыгают в зелени солнечные блохи.

Здесь го́рода близость покоя не будит,
И с веком пока что царит неувязка,
По запаху здесь различаются люди,
Часы узнаются обычно по краскам.

Но все же приятно в таком захолустье
В малюсеньких черточках видеть эпоху,
Сквозь дождик июльский мечтать о капусте
И в жар августовский тянуться к гороху.

А прошлое? В прошлом у каждого дата.
Где точность дороги помята, стерта,
Где чувства без толку смешались когда-то,
Где их разобрать невозможно без черта.

Но прошлые чувства сегодня я сузил,
Ревность ко мне не приходит украдкой,
Губы не вяжет в презрительный узел
И не сжигает глаза лихорадкой.

С балкона кивают мне весело лица,
Зелень сияет, и струйками пара,
Чтоб где-то остынуть и влагой родиться,
Дымясь, улетает душа самовара.

Здесь можно о многом подумать, поспорить,
Но это природа, жизненность это!
Здесь выдохнуть можно усталость и горечь
И снова вдохнуть себе в легкие лето.

На сон грядущий

Ты открываешь двери на балкон.
Блестят его прохладные перила.
Здесь выход в мир, черта и рубикон,
Которые ты вдруг переступила.

В саду от жара выветрился след,
И омывают веток построенье
И тишина, и запахи, и свет,
И пчел горизонтальное струенье.

Спускайся вниз. Тропинкою — и в лес.
Как веток хруст таинственно неясен!..
Не бойся ничего. Прохлады перевес
Спускается уверенно на ясень.

Тусклы берез рябящие ряды,
Притих у муравейника татарник,
И в сумрака зеленые пруды
С отрадой погружается кустарник.

Здесь все живет. Лишь руку протяни —
Заговорят грибы и свет зеленый...
Вон комары плывут в полутени,
Как пепел, кем-то оживленный.

Прислушайся! В деревьях, в них самих,
Сам закипает ветер беспричинный,
И свет еще в ветвях блестит на миг,
Как вдруг раскрытый ножик перочинный.

Так пусть душа, отдавшись, обоймет
И бег времен, и всех житейских линий
Порой уж очень сложный переплет,
И снов полет стремительный и синий.

Ты устаешь. Вернись теперь назад,
Скорей домой, тропинкой через сад.

Гамак. Приляг. К тебе пригнется высь.
Ты можешь все. Усни! Зарой
В подушку голову! Сама себе приснись
Дождем, поляною лесной, зарей!

По краскам августа

(2)

1

Август. Мой любимый и мной оставленный август.
Последний мыс лета, огибаемый солнцем.
Лиловые глыбы туч, загромождающие горизонты,
Они лежат телами чудовищных ископаемых.
Золотые корневища молний пробуравливают их мякоть.
И кажется, там, за их гранью, вырастают огненные деревья.
Август. Мною открытый и мною покинутый август!
Кузнечик, мучнистый от пыли, переползает дорогу.
И пыль, устилающая дорогу, мягка, мягка, как плюш.
И ослепительно белы плоскости цветов зонтичных —
Ладони земли опрокинуты к солнцу и небу.
Еще янтарно прозрачны гроздья рябин,
Но в их гранях все гуще запекаются отсветы солнца.
Все ниже склоняют подсолнухи медные шляпы.
Все чопорней георгины на клумбах стоят визави.
В последний раз отдаются воздушным теченьям левкои,
И, сбрасывая атласные юбки, раздеваются маки!
Август, поселяющий в каждое тело весомость, —
Уже не цветы, а плоды вздрагивают от прикосновения насекомых.
Чувства прошли через все травы, все лето,
Они отстоялись, как в чаше, и стали прозрачны.
И лишь порой где-то там, в глубине, запевает источник,
И чувственность подземным ударом срубает вдруг тело.
А вечерами все млеет. Травы изнемогают от меда.
Лесные поляны наполнены пчелиным гуденьем,
Бормотанием листьев, смутными снами деревьев,
Поляны. Зеленые, широко открытые лона...
И вдруг тело девушки, заломленное, опрокинутое назад,
В травы, в иван-да-марью, в мышиный горошек...

Горячка рук. Нарочитая грубость объятий.
Через все сновиденья природы проходят два тела.
И лишь позже, потом, просыпаются понемногу ресницы.
И вот осторожная мягкость уже затянувшейся ласки.
«Отныне ты знаешь и эти слепые широты.
И я тебя ласкаю, чтобы ты была в силах принять их».
Что снится деревьям? Восковым рябиновым гроздьям?
Облетающим макам, георгинам и тучам — что снится?!
Мы травы, мы шуршание, обморок листьев.
Мы ночная роса, мы клеверный шорох и мленье...
Но я не люблю вас больше, моя бесконечно любимая.
Август. Мною отысканный и мною брошенный август!

2

Какой стала тяжелой и темной зелень деревьев.
Восковой глянец листьев рябится под ветром.
Все оттиски лета стали глубже и гуще.
И только воды и небо невозмутимо прозрачны.
Но в какие невероятные смеси замешены краски!
Охряные дикие рябины, снеговые вьюнки,
Кровяные гвоздики. Пунцовые шерстистые клевера.
Ослепительные, ветвистые лучи золотых розог.
Небесные лепестки цикория, усатые чины,
Облачные василисники, султаны раковых шеек...
Как спесиво напыщены эти львиные зевы!
Как прохладна розово-белая пена картофеля!
Эй вы, там, под землей, добродушные, толстые клубни!
Я проникаюсь к вам какой-то новой любовью!

3

О, кто бы ты ни был, если ты близок моим порывам,
Если ты рад этим шумным ласковым кронам,
Если ты весел от бесконечных воздушных потоков,
Если соки земли тебя зовут на просторы,
Если в твоем сердце рождается отзвук
На каждое колебание, на каждое звучание мира,
Если, наконец, ты полон неисполненных мыслей,
Я тебя принимаю в окруженье своих удовольствий.
Присядем, потолкуем о том и об этом, о том и об этом.
Что хочешь ты, чтоб все в тебе было дружно и вольно?
Я хочу выслушать твои добавления к повестке.
Скажи мне, в чем сущность душевных твоих пятилеток?

Осень

Знакомая, призрачная клинопись журавлей;
Пригорьковатая пряность воздушных течений;
Сургучные печати рябиновых гроздей;
Сиреневые пуговицы доцветающих снабиоз;
Зеленые и розовые раковины сыроежек;
Крашенные в крапинку домики мухоморов;
Левитановские березки тронутые золотухой;
Кленовые листья, разрезанные на фестоны;
Огороды, превращенные в музеи диковин;
Голубоватый фаянс капустных вилков;
Розовоногая морковь, меднолобые тыквы;
Картофельные железы, вылущенные из грядок;
Оголенность вещей, призрачность горизонтов;
Успокоительный, монотонный мотив молотилки;
Волнистое солнце опустошенной соломы;
Зерно, свезенное в рыжие груды,
В котором тепло, растерянные букашки,
В которое руку запускаешь, как скряга,
В котором мечта кажется полновесней.

***

Воздух до самой до просини
Настойкой тминной пропах,
И золотые крылья осени
Застряли на дубах.

Полые, сухие как трут, —
Слабые оттиски лета —
Позванивают на ветру
Трав золотые скелеты.

В кустах все будто: тина-ина, —
Теряют вещи за связью связь.
И проплывает паутина,
По воздуху слезясь.

Все тяжелей лесов недомоганье,
И синева туманней по утрам,
И все покорнее ветрам
Сады, оставленные на поруганье.

Вода в прудах от ряби в запятых,
Но нет над нею росчерка стрижей.
Огонь цветов, морозом испитых,
Что сутки, то рыжей.

Все злее дождь деревья треплет,
И все, на что ты летом уповал,
Смертельный вдруг охватывает трепет
И холод ранит наповал.

Но, между прочим, слово за тобой —
Не унывай, старайся, хлопочи:
Есть взгляд еще до сердца голубой,
Покой в домах и топливо в печи.

В амбарах хлеб, атласное пшено,
И все вокруг твое, твое...
Благодари ж, что так обнажено
И взору твоему открыто бытие.

***

Воздух каждую из гланд сковал —
В нем сыро.
И осенний запах голландского
Сыра.
Небо собралось глупое
Плакать.
И под ногами хлюпает
Слякоть.
Как это? Что ж это?
И это,
Как оно вами прожито,
Лето?
Помните вечер, луна спит
Еле,
И у железнодорожной насыпи
Ели.
И прошлое и настоящее
Неодолимо,
Как поезда, поезда, летящие
Мимо.
И среди грохота злого,
Средь дыма
Так и не произнесенное слово:
Любимый.
И как были зелены клены,
Вы помните?
У времени все утонуло в зеленом
Омуте.
На ветках листики, где вы?
Вас нету,
Зелень видели девы

Во сне ту.
И за что же теперь поручиться:
В разливе
По вертикали ручьится
Ливень.
Комнаты сумрак обводит
Тихо,
И струйки на стеклах вроде
Тика.
Встает история викингов
В яви,
И часы повторяют из Киплинга:
— Рики-тики-тави!

(3)

Я начинаю с того, что мое обращение к вам условно. Я давно утерял вас и реальность вашего существования для меня мало ощутительна. Она состоит главным образом из моего желания видеть, чувствовать вас, быть с вами. Желание не осуществимое, но для меня «желать» всегда означало движение не только в мире внутреннем, но и во внешнем. Желать для меня значит обязательно иметь желаемое. Вот почему я пишу это письмо, хотя и не имею понятия об адресате.

Сегодня здесь зимний январский день. Если бы природа могла сообщить нам часть своего обаяния, то показав вам все чудеса, на какие способна здесь зима, я мог бы надеяться, на то, чтобы вы любили меня немного.

Мороз превратил леса в чудовищные заросли давно отошедших эпох. На моих окнах нарисованы такие замысловатые папоротникообразные ветви, такие фантастические серебряные хвощи и голубоватые оттиски раковин, что невольно думаешь: не снится ли этому миру далекий геологический сон. Летом все бодрствует, а зимой спит и видит во сне свое детство.

Утром, когда я выходил за охапкой дров, я испытал, давно, с юности забытое мной волнение, охватившее меня при виде берез, превращенных в сверкающие фонтаны, неподвижные фонтаны, но все же так живо передающие движение, что хотелось встать под струящиеся ветви и принять на себя лепет брызг. В легкой кайме снежной пены, стояли липы. Небо над ними было ни синим, ни зеленым — в нем был какой-то оттенок, делавший его особенно прозрачным и далеким. Где-то невидимый в лучах света но под самым солнцем слышался шум мотора. Тени деревьев лежали на снегу очерненные строгими, не знающими полусвета линиями, и нигде на всем пространстве не было видно ни одного следа. Так показалось мне, что я вижу перед собой свою любовь...

Но помните ли вы один осенний день прошлого года? День, когда за городом еще заведенные в хитрые смеси доцветали краски лета. Лимонные молочаи, белые звезды вьюнков виднелись у насыпей железных дорог. Иногда среди них мелькал яркий венчик цикория, как голубой глаз, уставленный в небо.

Торопясь и перебивая друг друга цвели зверобои, снабиозы и черноголовые васильки. Они были почти у самых рельс и дальше. Поезд прибавлял ход, и все расцветки сливалась, превращались за окном в голубые, розовые ручьи, в змейчатые полосы летних оттенков.

Только там в городе, куда я приехал во второй половине дня, зелень деревьев казалась отяжелевшей и темной. Слишком уж броско цвели в скверах цветы, той сухой яркостью, за которой следует увядание. Под всем этим кармином георгинов и гвоздик угадывались уже холодеющие губки природы.

И все же день, о котором я хочу напомнить вам, был еще полон тепла, нежной пряности, и даже легкое утомление, разлитое в воздухе, придавало всему какой-то, заставляющий острее чувствовать, оттенок.

Мне помнится, вы тогда пришли на свиданье в легкой светлозеленой кофточке и без шляпы. Да это был тот самый день, когда равно в семь часов вечера мы встретились с вами на углу Черкасского и Никольской.

Это было наше первое и, увы, последнее свиданье. Вы, мне казалось, избегали впоследствии встреч со мной, а я, может быть из самолюбия не проявил достаточной настойчивости, так необходимой в этих случаях. Может быть это так, но несомненно одно, что за небрежность по отношению к своим чувствам я заплатил ценой утраты видеть вас, быть возле.

Дожидаясь вас, я купил в киоске охапку георгинов и астр, но боясь показаться смешным тут же подарил их встреченным девушкам.

— Не все ли равно, — подумал я, то что я не могу сделать для нее, я могу сделать в ее честь.

Я стоял на Никольской, как раз против той аптеки, в которой вечно что-нибудь перекрашивают и переделывают, словно за ее прилавками продавцы и фармацевты какие-то неудавшиеся гении живописи и архитектуры.

Наблюдая их упрямые хлопоты, я пытался принять вид независимый, рассеянный и безразличный. Ибо, что скрывать, я плохо верил в возможность нашего свидания.

Как я волновался тогда! Точь-в-точь как моя бабушка, когда она по воскресеньям пекла ватрушки. Она всегда опасалась что они недопекутся или подгорят. Я боялся сразу и того, что вы не придете и того, что вы придете и я не найдусь — не буду знать что говорить и куда идти с вами.

Я так же опасался не узнать вас среди этой уличной торопливой перетасовки лиц, рук, причесок, улыбок и манер. Я ведь видел вас только однажды и почти мельком. Я видел вас за работой и не знал в каком костюме встречу теперь. Какие глаза, руки, платье должен был выбрать я в реке плеч, голов и одежды, катившейся передо мной. Я уже обманывался несколько раз стараясь угадать то, в чем я не мог ошибиться. Это были мгновенные сновиденческие обманы. Глаза, которые встречалась с моими, были или слишком светлыми или слишком непроницаемыми, их радости или грусти каждый раз не доставало оттенка, отсутствие которого я угадывал сейчас же.

Мой страх не узнать вас был напрасен, я угадал вас издали, я увидел вас еще не видя, я догадался о вас еще до вашего присутствия. Я узнал вас так, как узнал бы всегда и везде по одной пряди волос, по краю платья, по единственной складке на нем, по чувству, у которого двойная способность видеть, или которому необязательно зрение.

Теперь я могу выразить вам всю признательность за ту простоту, с какой вы предложили и место прогулки, и свою руку мне. Помните ли вы те липы и клены у Кремлевской стены на берегу Москва-реки, где мы и проболтали несколько часов сряду?

Я не могу восстановить всего того, что я говорил вам дорогой, я помню только великодушие, с каким вы выслушивали мой вздор. Вздор потому, что было бы вдвойне вздором если бы я говорил серьезные вещи. Я хотел, как часто хотят в таких случаях, сразу двух противоположных вещей: скрыть свою радость, которая могла бы показаться нескромной, и показать свою радость, чтобы ею выразить благодарность. Я говорю радость, потому что я увидел ее неожиданно всюду: в бегущей игре теней, в клекоте листьев, в тонах скользящих у вас по лицу, в расцветке неба, травы и зданий, чьи краски жили в этот предвечерний час интенсивной изменчивой жизнью.

Мы сидели у лип, еще не облетающих, но только изредка, осторожно, как бы для пробы, роняющих лист.

Видимо, я должен был сказать вам, что я люблю вас. Но это казалось мне слишком скоропостижным, я не чувствовал в себе сил оправдать эту скоропостижность. Однако, я любил вас, и это была правда, и в разговоре я все вертелся около нее и тоже говорил правду, но только не ту, которую нужно. Глупцы именно так и поступают; они говорят любую правду, кроме той, что необходима. Вы были слишком неопытны, чтобы придти мне на помощь. И я очень страдал, потому что в те времена я больше всего походил на дикаря, для которого не иметь желаемого, еще более безутешно, чем для ребенка.

Разойдясь, мы не стали ближе. Потом я уехал, я потерял вас из виду, отнесся небрежно к чувству, предназначенному жить. А оно, это чувство, катясь по страницам, полным любви, по быстролетучим опытам жизни, как снежный ком разрасталось все больше и больше. Оно все ширилось и переросло меня. Вот почему я думаю: у любви обратный закон перспективы и вещи на расстоянии кажутся ей больше.

Мои попытки отыскать вас тщетны. Нужно ли это? Но иначе что стоит бесплодная излучаемость чувств в пространство? Фосфоресцирующий в пустоту обломок грунта остается холодным камнем. Или по закону сохранения энергии есть смысл и в

этой фосфоресценции? И еще раз: помните, как там у Ролана: «хотеть надо сразу или никогда».

Сейчас пять часов вечера. Как раз тот час, когда свет дня приобретает первую окраску. Опаловый воздух недвижен над снегами. В его светлосиреневое пространство погружены деревья. Дом уже спит. Только в водопроводах булькает его бесцветная кровь. Дом страдает водянкой. Я боюсь заразиться этой литературной болезнью и поэтому кончаю письмо к вам. Зачем оно было нужно? Может быть не для нас, так для других.

***

Декабрь. Полусвет. Загрунтован в белила
Карандашный рисунок облетевшего сада.
Над всем, что случилось, что будет, что было,
Лепечущий, добрый полет снегопада.

Пикейная поверхность первых сугробов,
Вечерами сочащих свеченье гнилушки...
А крыши-то, крыши! Не крыши, а сдобы,
Все пироги, твороги, кренделя да ватрушки.

Снеговые чехлы на решетках, на ветках,
На березах и кленах ночные сорочки,
И в красках, таких, как история, ветхих,
Всего пейзажа расцветка сорочья.

И воздух до неба весь в снежном узоре,
Весь доверху сбитый в молочную купу,
Весь в точках снежинок, как в цвету инфузорий,
Словно вдруг заведенный под лупу.

Мороз. Он все злее. Слепит он глаза вам.
Деревья от стужи ветвей не разнимут,
Но все так же любима одетая в саван
Земля, проходящая зиму.

Мгновение

Так вот то место... Вот оно!
Как это было? Как давно!
Как тщательно погребено
То, что вернуть нам не дано!
Стояла ростепель, весна,—
Мне эта часть теперь ясна:
Вот здесь дорога, там сосна...
Но все в снегу,
Все на бегу,
Все на боку...
Вот так дано
И ветру в лапы отдано.
Так что ж я сделал, что я сжег!
Я совершил бы, если б мог,
В прошедшее прыжок.
Но, память, стой, не укоряй!
Скорее в ловкий свой улов
Ее лица шелка ищи,
Протяжность слов,
Прическу в несколько узлов.
И платья край,
Еще живой, еще мелькающий
Среди березовых стволов.
Теперь на свет все извлеки!
Все изреки!
Она была как из реки,
Как на воде вдруг пузырьки,
Как этих сосен аромат...
Я помню все. Все в две строки:
Загар руки,
Бровей раскат

И взгляда страшный шах и мат.
Приди! Приди!
Ну как-нибудь!
Вот пень — мы можем сесть...
Я чувствую, ты здесь!
Ты есть!
Ты бесконечна, ты без дна!
И вот уже, дыханье затая,
Ты шепчешь чуть: — Твоя, твоя.
Но все обман. Пустынный снег,
Да ветра бег,
Да лес, да сумерки, да белизна,
Да елок смутная хвоя.

Марианна

Да, опять же снег здесь, снова снег,
И зима приложением к снам нам,
И опять в снегу, и опять во сне
Ты сквозь сон сквозишь мне, Марианна.

На трамвайных стеклах пятна, пятна...
Голубые оттиски дыхания.
Как ты мне прекрасна и понятна
Пара сквозь и мира колыханье.

Реет снег, ликующий, чуть синий,
И опять ты в нем, и тобой согреты
На витринах хризантем и цинний
Жаркие морозные букеты.

Как все переменчиво, превратно:
Светофора капля раскаленной
Падает, краснеет и обратно
Подлетает желтой и зеленой.

Окна. Шторы. Из-под них обрезки
Света вырываются наружу.
Распахнуть лишь эти занавески —
И тебя я, мнится, обнаружу.

Полночь. Два. Пустая комната.
Ты одна, совсем одна.
Расскажи, о чем это, о ком это
Так молчит — не дышит — тишина.

Тишина, скребется в дверь она,
На столе посуда, хлеб и пастила.
Чай окончен, выпит, и растерянно
Ты сметаешь крошки со стола.

Что же, знаю, быт здесь отработан...
Я ищу тебя, а не мечту.
Если ты согласна, то я — вот он,
Если так отчаялась — я жду.

Сон все. О! Чтоб пробудиться,
Глас раздайся трубный.
Что мне делать, если находиться
Можешь ты на Сретенке и Трубной?

Как ты? Почему ты? Где ты?
Город спит, весь в инее и блестках.
Фонарей безмолвные пикеты
Сторожат его на перекрестках.

Среди зимы

Мороз крепчает... Стужа... Тьма...
Ты отдыхаешь — вся покой...
Чуть шевелишь во сне рукой...
И снова спишь и спишь — зима.
Часов не слышно — спят и те,
Постель белеет в темноте.
Обои, стены — все во мгле.
Чулки, белье — все спит вокруг,
И, позабытый на столе,
Спит электрический утюг.
Но вот мелеет ночь... рассвет...
Тепло сошло уже на нет.
Встречает медленное утро
Вдруг объявившаяся утварь:
Диван, и стол, и книжный шкаф,
И вот уже, как резвый конь,
В печи приветственно заржав,
В трубу бросается огонь.
А за окном: зима! зима!
В пару, в снегу, в дыму дома,
Белеют крыши — ряд, другой,
Над ними дым висит дугой,
Завар у воздуха крутой,
Он весь как будто бы литой...
Спешат прохожие... Шумок,
И хруст и скрип от их шагов,
Курится струйками дымок
У меховых воротников.
Видны как бы сквозь слой слюды
Остекленелые сады.

Снежинок легонькие стайки
Кружат, роятся — вниз и вниз:
На крышу сели, на карниз,
На площади сидят, как на лужайке,
Они на улице... но тут
Машины быстро их метут.
Движенье, шум — их не осилишь:
Кряхтя, ползут грузовики,
Идут ремесленных училищ
Стремительные ученики.

А ты все спишь. Все сон да сон...
И куклы спят... все не резон.
Вон одеяло, как назло,
С постели на пол уползло,
Часы проснулись, и утюг
Готов для прачешных услуг.
Смотри, над впадиной двора,
Где суета, где детвора,
Синь проступает с высоты...
Ну, просыпайся! Что же ты!

Песня

Разметались вьюги,
Снегом налетели,
И под снегом руки
Уронили ели.

Уронили долу.
Лапы опустили.
Мчит дорогой голой
Туча снежной пыли.

Мчит, летит, курится...
Но что хочешь делай:
Спит — не добудиться —
Сад заледенелый.

Только нам ведь, друже,
Не остудишь крови,
Никакая стужа
Нас не остановит.

Надевай-ка лыжи —
Да по снежной дали,
Пусть их бег пролижет
След яснее стали.

Помнишь, как, накинув
Плащ поверх шинели,
Ты на белофиннов
Шел через метели?

Друг около друга
Ели в чаще леса,
Их одела вьюга
Дымовой завесой.

Все здесь было, друже,
То ли еще будет!
Нам любая стужа
Крови не остудит.

Марш, лети по снегу,
По всему раздолью,
Даль навстречу бегу
Отливает солью.

Ветер мчится колкий,
Мчится ветер юркий,
И под снегом елки
Будто бы снегурки.

А наверно, дома
Все дела приспели,
Тихо бродит дрема
Около постели.

Ну так что ж, приляжем,
Так ведь — не иначе, —
Если горе даже
Грянет — не заплачем.

Пронесутся вьюги,
Пролетят метели,
Зеленея, руки
В небо вскинут ели.

Прыжок

(1) **Прыжок**

«И так высота набрана до отказу...
Да... а сегодня рождение Вали.
Герою шесть. Видали такого?
Подарок и тот не придумаешь сразу:
Коньки по лету подходят едва ли...
Так что же? Краски? Стихи Михалкова?
Стихи как будто вот только с пера...»

Но нет, не додумал. Команда. Пора...
— Нас ветер направил да мир порешил...—
И ниткой суровой воздух прошил
И белою молнией небо прожег
Прыжок!
Ветер движению просторы откупорил,
Земля навстречу ринулась кубарем,
Рванулась что силы, помчалась вприпрыжку.
Эй, тучки! Остановите парня!
Остановите парнишку!!!
Но где там!
                    Какие попарно,
Какие по штучке,
Метнулись было и смылись тучки.
Воздух по телу хлещет тугой,
Кругом горизонты свело дугой.
Придумать ли лучше этой стези:
Мчись!
            Окрыляйся!
                                Врезайся!
                                                Скользи!
Но вот уже плечи рывок ожег
И сразу плавнее пошел прыжок,

Земля внизу видна с лужок,
Городишко на ней всего пирожок,

А люди-то, милые! Отсюда — с прыжка
Ну так себе, вроде бы порошка.
Труба у завода — ну просто гильза!
И как тонка реки леса.
Но ниже!
                    Ниже... Сходит на нет,
Опять воплощаясь, земли макет,
И там, где она была лыса,
Зеленой опарой встают леса,
Взлетают, расцветкой в глаза пыля,
Дома, домочки, сады, тополя,
Шоссе, переезд, телеграфный столб...
Стоп!!!

Ничего не понять здесь, хоть тресни,
Алеют флаги. Трепещут песни.
А воздух-то, воздух... дыши
От души.
— Эй, земляк!
— Это что такое?
— Это земля!!

Хитрость

Листву сварила жара на бульваре,
Раскрыла окна зевота в доме.
Башку потрогал — башка не варит,
Тело, как после болезни ломит.
Встречные люди плывут как трупы.
Знакомую встретил, чуть не плачу,
Она же мне ласково: — Полно, глупый,
Едемте, маленький, со мной на дачу,
А я в себя пальцем: — Видите, чучело,
Куда я поеду, скука замучила.

Ушла знакомая, а скука вдвое
Собакой некормленной в сердце воет,
Я ж обозлился, думаю — ну-ка,
Хитрым сделался словно щука;
Глаз прищурил. В другом разрезе
Мир представил под этим жаром,
Кастрюлями кверху дома полезли,
Облака повисли над ними паром.
Солнце по крышам текло, как сало,
А я вроде повара шел до вокзала.
Вокзал лучился стеклянной глыбой
Люди в вокзале не люди — рыбы,
Взял я билет, а в билете дырка
Сидит посередине, как пассажирка.
Только в дырку влез глазом
У мира заехал ум за разум.
Что контролеры, даже углы,
Как мандарины стали круглы.
Но тут обрывая чудес поток,
Прыгнул в небо змеей свисток.

Взглянул я в окошко — ну не потеха ли:
Движенье у жизни размерено поровну, —
Мы, как полагается, вперед поехали,
А зданья поплыли в обратную сторону.
Паровоз же толстенный — видать обжору, —
Уголь ест за горою гору.
Плюется, чихает, сопит добродушно:
Душно, душно, душно, душно.
А вагоны бегут — бегут вагоны
Рельсы глотают, как макароны.

Забыл я зевоту, скуку, прозу,
Приехали на станцию, шасть к паровозу;
— Чем в этой жизни мечтаешь, бредишь,
И как, говорю, к коммунизму — доедешь?
А у паровоза труба задымилась,
Сам надулся, как бык к обеду,
Дескать, это как ваша милость,
А и так очень и очень доеду.
Ну, что ж поехали, дышим, едем,
Тень сбоку поезда бежит медведем
Шкурами зелеными летят поляны,
Лес качается, словно пьяный,
Столб телеграфный, как ландыш мимо,
Крылечко, домик с ниткой дыма,
Прем в откосы, летим с откоса
Где крылечко?— тю, тю, крылечко,
Будка мелькнула и под колеса
С разрезанным горлом упала речка.
Ну, говорю, жарь, нажимай, не потеха ли,
Но в эту минуту мы — приехали.

Предлагает на даче знакомая чаю,
Так мол и так мол — я тоже скучаю.

Тут я, конечно вынул билет.
— Для скуки в мире места нет!
Взгляните в дырку и скука начисто.
Хитрость в жизни, чудесное качество!

Воздух

Прыгая лесом, травой семеня,
От тона к тону меняя тон,
Скрещением линий омывая меня,
Простор летит с четырех сторон.
Ветер с налета волну клюет,
Выгнув спину, раздув бока,
К чертям ледяное скинув белье,
Вакансоновской цепью несется река.
Кусты осыпает лягушачий гам.
Граненые раки, шальные ужи,
Чернея как уголь, плывут к берегам,
И рыбы скользят под водой, как ножи.
Мне воздух бесшумно льется в рот
И сыплется в легкие, чуть звеня,
За жабры меня восторг берет,
Дурацкое счастье теснит меня.
Я говорю: молодой человек,
С чего бы сегодня ты так счастлив?
Ведь это же только в обычае рек
Плечи топорщить в весенний разлив.
У тебя же занятия, ворох забот
Киевской ведьмой присел на горбе,
И вечер с тобой разделить не придет
Та, что вчера изменила тебе.
Но сыплется солнце, вертятся у рук
Молекулы света вокруг осей.
Горят под водою лезвия щук,
Бронзою дышат бока карасей.
Хрустит под ногами, как пряник, песок,
Небо качает сияющий зонт.

До последних пределов расширен зрачок,
Соринкою плавает в нем горизонт.
Прекрасна страна, где так четко даны
Заданья работать и бодрствовать мне,
Замечательно имя этой страны,
Целителен воздух в этой стране.

Куда глядят глаза

Надоели: книги, полки, столик,
Все перипетии и «про» и «за»
Пойти пошататься что ли
Куда глядят глаза.

Грозой пролетевшею город охаян,
Размыт от крыш до песчинок.
Дерево сломано. Шутка плохая
Ждать от бури починок.

Вот и в воздухе прелесть та,
От которой в душе и мыслях сумбурно,
Казалось бы жил и жил не закрывая рта,
Как вот урна.

На мокрых асфальтах лучей чехарда.
Лужа? Дымится? Ну что ж, шагнем:
Дождь это просто себе вода,
А гроза — вода пополам с огнем.

В ручей стекаются капли, каплюшки,
А он окурки тащит. И куда собственно?
Добро б не ручей, а Плюшкин —
Зачем ручью собственность.

А вот и девчонка. Шляпчонка, прядь,
Совсем золотая... Ее бы спрясть...
В глазах у девченки море синё,
Но мне ж не портрет писать с нее.
— Как вас зовут? Валентиной? Шурой?
Не отвечает. Дальше шагаю хмурый.

Клен стоит. Может лет сто выстоял.
А что в результате стояния?
Корни да листья
Вот и все достояние.

Под листочком укрылись божьи коровки.
Им хоть заново дождик брызни.
Благополучие тоже требует сноровки,
Как и все в жизни.

Витрина. Куклы. Купи штуки три,
И если протянется в жизнь скука,
Ты ее все-таки перехитри —
Начни жить с кукол.

***

(2)

Когда распускаются легкие маки
И светлы деревьев зеленые знаки,
Когда от земли отрываются злаки,
Когда бы то ни было, — ты мне знакомо,
Средь трав и раскатов далекого грома
Упрямое чувство любимого дома.

Когда по дорогам раскинутся лужи,
Окутает изморозь тальники стужей,
Листву непролазные ветры закружат...
Когда бы то ни было, — ты мне знакома,
Совсем человечия надобность дома.

Когда вдруг по лунному холоду ночи
Улягутся вьюги разорванной клочья
И выступит звезд надо мной многоточье...
Когда бы то ни было,— ты мне знакомо,
Среди тишины и снарядного грома
Бессмертное чувство любимого дома.

***

Ты помнишь? Все помнишь — и тучи, и долы,
И света на тонкой воде карусели,
И синь на реснице, и говор веселый,
И в огненных травах кузнечиков трели.

Ты можешь уйти, но мне снова приснится:
И жаркие травы, и данное слово,
И шелк убегающей в небо ресницы,
И я позову тебя снова и снова.

Ты снова вернешься — протянешь мне губы,
И солнце прорвется по травам, по водам...
Кузнечики вскинут зеленые трубы,
И тучи над миром пройдут хороводом.

Половина марта

Воздух пьян на один процент;
Небо синей, чем глобус.
Через окраину, через центр
Проносит меня автобус.
Солнце летит со всех сторон,
И вода закипает в шинах.
Кондуктор вежлив, как будто он
На собственных именинах.
Автобус от солнца и от весны
Как золотая клетка.
Но вы по-декабрьски еще грустны,
Моя дорогая соседка.
Прислушайтесь к сердцу, там снова ток,
Там уж не так пусто.
Там потихоньку дают росток
Отзимовавшие чувства.
Там раскиданы по углам
Промахи и ошибки.
Весна ожидает сегодня там
Пропуска от улыбки.
И соседка, бросая кивок головы.
Улыбается мне неловко.
И нас оставляет в конце Москвы
Автобусная остановка,
Мы здесь отдыхаем, мы здесь вдвоем,
Здесь уж не так гулко,
На здании синим цветет огнем
Фамилия переулка.
Воздушная пена шипит в груди
И бродит по венам пьяным,
И небо живет, небо гудит,

Заряженное аэропланом.
Но это не финиш, это не цель,
Это минута старта.
Движенье, солнце, капель
И половина марта.

Лейтенант

Он идет вдоль палисадов,
Яблонь, вишен и подруг.
Дождь улыбок, шуток, взглядов
Совершается вокруг.

Он шагает, он кивает,
По поклону этой, той...
Это так уже бывает,
Если парень молодой.

Если он приехал снова
В те места, где жил и рос,
Если здесь его основа
Снов ребяческих и грез.

Не в одном он был походе,
Бил панов, шюцкоров бил.
И ему лишь не подходит
Только это слово «был».

Вот он здесь шагает мимо,
Строен, ладен, как всегда,
И горит неукротимо
На груди его звезда.

Он прошел огонь и воду,
Не одну связал беду,
Он везде служил народу,
Чести, доблести, труду.

Он идет, ему открыты
Все улыбки, взгляды все.
Он идет по знаменитой
Светлой утренней росе.

В дымном солнце золотится
У нашивок строгий кант.
По родной своей станице
Так проходит лейтенант.

Вот подходит он к овину,
Здесь собранье грабель, вил.
Вот рябина. Здесь рябину
Он когда-то посадил.

Все понятно, все знакомо,
Мир здесь ясный и простой.
Сто шагов еще до дома,
Сто до милой, сто... Но стой.

Вон за тою за калиткой
Профиль девичий, рука,
Грудь под легкою накидкой,
Взгляда доброго река.

Он идет скорей, скорее...
Неплохой и он ходок,
Замирает, льется, реет
В сердце жаркий холодок.

Он идет, расправив плечи,
Он идет, не чуя ног,
Только солнце рвет и мечет
В черном зеркале сапог.

Танки

На них теперь алеют флаги,
На них еще от пуль зигзаги,
Еще они полны отваги.
Они прошли через овраги,
Через леса, через сугробы,
Через карельские трущобы,
Через болотных вод утробы
И не такие тонны злобы
Они пройти могли еще бы.

На них печать большой заботы
Их кроющие пулеметы
Сквозь смерч огня и пуль полеты
На вражеские шли оплоты,
В строй неприятельской пехоты,
В артиллерийские расчеты.
За ними долы и высоты,
Заставы, взорванные ДОТы
Но с ними мир и с ними взлеты
У мира славы и работы!

Вступление

Пруды, жирующие лягушачьей икрой.
Нагие, розовые от зимовки, лягушки.
Синими гландами набухнувшие воды.
Вдовья, податливая чувственность почв.
Обеспокоенность воздуха. Бессоница соков.
Деревья, отданные ветрам на корма.
Прозрачней и приторней патоки ночи.
Шнырянье, нырянье, возня протоплазм.
Выделенье углекислоты, деление клеток.
Жемчужная, молочная животность звезд.
Сны, неуспевающие перегореть до утра
И губы, набухающие сладостью снов.
Розовоногие, рудые на восходах дожди,
Дожди, возвращенные опять в бытие,
Отзывающие медом, землей, бузиной,
Дожди, пропахшие парным молоком,
Дожди впервые на риск и на ощупь,
Принимают и лишают невинности рощу...
Испарина! Дым! Томленье, как в бане.
Затем передышка. Клубятся, и только,
Туманы бесшумно сшибаются лбами.
Но мне невозможно, мне мало, жадно!
Вселенная! Я вламываюсь в нее, как в кусты...
Треск... Густое, грудное гуденье...
Все покрывающий птичий, немыслимый грай.
Дым ли? Виденье? Мираж ли? Страна ли?
Не та ли, что снилась, мечталась, не та ли,
Которой я выхожен, выпоен, вскормлен?
Нет нельзя разобраться. Только спустя
Проступают сырые пятна деталей.

Бульк, бульк... на поверхность воды
Вскакивает серебряный ожог пузыря.
Под ним шевеленье, муть инфузорий,
Прерывистое сочленение солнечного луча —
Пятнастый, вздрагивающий, солнечный солитер,
Глубже — затмение, кишение одноклеточных,
Убегающие запятые комариных личинок.
Туманность, мерцание, гниение дна.
Выше — деревья. Шелушение почек.
Закорузлые, глиняные стволы ив.
Еще голые фиолетовые ольхи,
И зелень. Едва нанесенная зелень,
Едва намеченная, показанная едва.
На вязах, как немного стянутые перчатки,
Высунутая, как зеленые жала на ясенях,
Как пух — на ветлах, как дым — у лиственниц.
Ниже — кустарники, моргающие травинки.
Цветы в синих и желтых платьях.
В самом простом сочетании красок,
В самом скупом выделении соков,
Им веришь на окраску, как верят на слово.

А там, за синей пульсирующей жилкой дали,
За мягким, морским покачиванием горизонта,
Ослепленные, размытые светом пространства.
Непрерывное сочетание рождений и смерти.
Догнивающие соломенные крыши селений.
Крыши новостроек, пахнущие олифой.
Добродушное, бензиновое посапывание тракторов,
Освященные первой бороздой колхозы,
Совхозы, окантованные зеленью огородов,
Где лук по-дикобразьи топорщит перья,
Сквозными плавниками шевелят салаты;

Головою упрямо уткнувшись в грядки,
Ногами по воздуху сучат редиски.

Касайтесь, касайтесь друг друга, травы,
В честь единства и обожанья, касайтесь!
Стройте веселые песни, люди,
Высокое ваше отечество стройте!
На мне любовь, воля ваша и слава,
Я для вас проникаюсь виденьем вселенной
Я учусь, ее изучая по буквам.
И если б она стала звуком
Я бы приник, я бы познал ее ухом.
Она из каждой минуты выходит сложнее,
А я с каждым мгновеньем выгляжу проще,
Чтоб осознать высоту ее качеств,
На вкус, на глаз, на обонянье, на ощупь!

Но дальше. Каменные сгущения городов.
Москва. Соцветие площадей и улиц.
Корнями труб и кабелей вросшее в землю.
Автомобили с вафельными носами радиаторов,
Напоминающих увеличенный глаз мухи.
Наполеоновские треуголки ламп на воротах,
Списки жильцов, повешенные, как меню,
Родники электричества, залпы мотоциклеток,
Запутанный, блуждающий в переулках ветер,
Часовые и ели застывшие у мавзолея...

Любимая, моя неведомая любимая,
Где-то между Красной площадью и Арбатом
Ты спишь. Ты вкушаешь язычество сновидений,
Ты всеми ресницами удерживаешь мироздание.
Тем временем мелеет бездна неба,
Встречным сном запылают созвездья,

Опущенный в проявитель город светлеет.
Но тсс! Спокойствие! Я возвращаюсь. Берег.
Серебряная слюна лопнувшего пузыря.
Слепые моргающие по-детски травинки.
Они кивают: примите, придите!
Я принимаю ваше приглашение, травы.
Станцуем. Сложим простейший гимн,
Гимн моей родине, моему времени,
Гимн многообразию и разноединству мира.
Лейтесь, лепеча и заикаясь, воды!
Плывите в лиловеющих глубинах, рыбы!
Отливая платиной и латунью, плывите!
Кивайте голубыми вершинами, сосны,
Каждому рожденью в знак почитанья кивайте!

Станция счастья (отрывок из пьесы)

Из картины четырнадцатой

Редкая заросль. Сложенные в штабеля тачки, стройматериалы. В центре у шалаша д е д *— сторож. Рядом, в дорожном костюме — архитектор* М е р и ш *, вернувшийся из поездки. Вокруг — прозрачный день облетающей осени.*

Д е д. Так ты, говоришь, бригадир, из вояжа?

М е р и ш. Да, что касается, скажем, вояжей,
Так если у нас не беречь саквояжей
Катай — не жалко; страна-то своя же.
Поезда и машины повсеместно к услугам;
Мчи по Самарам, скользи по Калугам.
А не хочешь на них — загнись в салазки
И жарь хотя бы до Уэллена.

Д е д. А для чего ты такое откинул колено?

М е р и ш. Так, неприятности; то да се... и, вообще,— неувязки.

Д е д. Какие же неувязки? я не вижу больших.

М е р и ш. Во-первых работа; делал на шик,
А получилось: так, ерундистика — пшик.
Ну, а там, где беда, ожидай еще двух.
У меня, брат дед, застрелился друг.

Д е д. Друг?

М е р и ш. Факт не мнущийся, как не комкай.
И хоть парень был не без «но», а хват, забияка,

А потом я еще с одной незнакомкой
Разошелся во взглядах по вопросам брака.

Дед. Да что ты?

Мериш. Да. И раз судьба такое мне вышила,
Надумал я нос повесить на квинту,
Почувствовать себя несчастным, покинутым...

Дед. И что? Удалось?

Мериш. По моему, дед, ничего не вышло.
Я вырешил: жизнь до меня не касается,
А нужен — найдет по горячим следам.
Я же пока — дела в чемодан,
Да махну-ка в Самару — там лучше скучается.
Ну на вокзал. За билет. И на поезд.
На место плацкартное улегся, покоясь.
А напротив так; не то пионеры, не то октябрята
(В вагоне ж не дома — все-таки скученно),
В общем, кто его знает, а наши ребята...
Так вот уж они: это просто потеха,
«Мы, — говорят, с вами не желаем ехать;
Вы, говорят, молчите, а нам скучно».
Да: «Кто вы сами?» Да: «Где вы живете?»
Ну, признаюсь, попал в переплетик:
Почему я — дядя, почему я не тетя,
Отчего пассажир и зачем не летчик.
Короче: история — нажил соседей...
И про что им рассказывать: не то про кино,
не то про медведей?
И ребят-то двое, а вопросов тьма.
Уж я им про то и про это, а потом про дома:
«Дома есть разные, видели вы же,

Какие пониже, какие повыше».
Путь до Самары как-никак долог
Но какой из меня, извиняюсь, педолог?
Едва, едва, применился к соседям,
И даже благополучно, кажется, едем,
А поезд жмет на все педали:
Кроит пейзажи за вырезом вырез;
И только что лес вам к окошку подали,
Глядишь — из другого завод уже вылез.

Ну когда так, и вместе ехали если —
То мы в Самаре вместе и слезли.
Выходим в город; А ребята же — комики:
«Вот, говорят, и наши самарские домики».
Я ж осмотрелся, думаю: «Эх-ма,
Какие там домики, да это ж дома»
А день над Самарой вздыхающий волглый:
Тучки по штучке гуляют за Волгой.
И по городу, словно вытисненная переплетчиком,
Осень каймой — пора золотая-ж.
А ребята мне; « Дядя, научишься летчиком,
Ты, говорят, нас надо всем полетаешь».
Так, чтоб не держать на пилота экзамен
Я из этой из самой Самары
Метнулся в Тулу со своими слезами.
Вот в Туле — там плачут, но одни самовары...
Побывал я в Крыму, а потом на Кавказе,
Но куда не приедешь, все та же оказия;
Повсюду, как волны: победно, широко
Гул, движение, человеческий рокот,
Новостроек еще не обмякшие плечи;
Плотины, надетые рекам на локоть;
В каменных юбках плавильные печи...
А электричество: ламп золотая акация...

И хоть может, кое в чем и сыро оно,
Но если: «коммунизм — советская власть плюс
электрификация»,
То по-моему, дед, электрифицировано!

Дед. Страна, что другой не отыщешь хоть тресни!

Мериш. Привезешь в нее слезы, а вывезешь песни.
И захандришь, в ее омойся бальзаме;
Обойми ее горн, долины и реки.
И что не поймешь умом — пойми глазами.
И все в тебе будет ясно, как... в Артеке.

Дед. Словом, родиной свет не обузил.

Мериш. Да, и родина слово живое — не по традиции.
Мы с ней в кровный связаны узел,
В ней споро жить, ей надо гордиться,
И если б я не родился в Советском Союзе,
Я бы хотел в нем родиться.

Приложение

Песня

У меня на родине,
Как пройдет зима,
Все сады в смородине,
В яблонях дома.

В небе звезды детские,
Радуги мосты.
На лугах простецкие
Русские цветы.

Я их откровенные
Полюбил глаза,
Но пришла военная
И в мой край гроза.

Покидал я родину,
Сад свой покидал,
Как сестру, смородину
Нежно обнимал.

Говорил: — Поведаю,
Вам, леса, луга,
Я вернусь с победою,
Сокрушив врага.

Если ж мой могилою
Пуля кончит путь —
Я на землю милую
Лягу отдохнуть.

— Друг, земля, красавица,
Принимай бойца,
Нам желаю славиться,
А врагам — конца.

Я скажу, не спутаю:
Крепко полюбя,
Я б и муку лютую
Принял за тебя.

Не угаснет отблеск мой,
Скажут обо мне:
Он исполнил доблестно
Долг свой на войне.

За меня смородину
Ветер обоймет.
Тот, кто пал за родину,
Тот всегда живет.

22. X. 1942 г.

Песня о Гансе

Скошенный гранатою пулемет замолк,
Отступает к западу в беспорядке полк.
К дулу пулеметному Ганс приставил лоб,
Каска опрокинулась с головы в сугроб.

Ганс! Ганс!
Что с тобою, Ганс?
Ты лежишь, хмурый и немой,
Не дождется милая жениха домой.
Не дождаться матери сына никогда —
Труп теперь равнинная унесет вода.

Ганс! Ганс!
Что с тобою, Ганс?
Где же твои подвиги, славные дела?
Вкруг лежат соратников мертвые тела.
Все они такие же, все тебе под стать —
Не поднять им головы, никогда не встать.

Ганс! Ганс!
Что с тобою, Ганс?
Ты на землю русскую злыднем налетел,
Звезды ее красные поклевать хотел.
Но стоит незыблемой русская земля,
Так же освещенная звездами Кремля.

Ганс! Ганс!
Что ты сделал, Ганс?
Как пришел ты к фюреру? Как и почему?
Глупую доверил ты голову ему?

Как поверил в хитрые, лживые слова —
Для него недорого стоит голова!

Ганс! Ганс!
Что ты сделал, Ганс?
Вот лежишь ты брошенный, хмурый и немой,
Никогда ты более не придешь домой.
Положил за фюрера голову ты зря,
Над тобой советская ширится заря.

Ганс! Ганс!
Очень глупый Ганс!
Над тобою знамени алый шелк горит,
Дали просыпаются в цокоте копыт.
Это наша гвардия снова мчится в бой.
Ты же, Ганс, будь проклят, ты и фюрер твой!

Ганс! Ганс!
Сгинь навеки, Ганс!

О мести вместе

Мы всего не скажем о начале,
Где зачат он, в логове каком:
В Дюссельфорфе, Мюнхене, Вестфале,
Но явился миру он врагом.

Поучившись в шулле и окопе,
Без большой с науками возни,
Он пошел, шатаясь, по Европе,
Пьяный от грабительств и резни.

Он болтал о фюрере, Берлине,
Клал в кафе на столик две ноги,
Сало крал и кур на Украине
И снимал с голландцев сапоги.

Он глумился в Бельгии и Польше,
Добираясь лапой до всего.
День за днем, и мы узнали больше
О безмерной лютости его.

Что ни час, то что-нибудь такое…
Ужасом глаза поражены.
Он лишал нас света и покоя,
Друга, брата, матери, жены.

Мы прошли всех горечей ступеньки,
Разучались здравствовать, любить…
Мир, казалось, встал на четвереньки
И готов от бедствия завыть.

Тот, глядишь, грузнее стал походкой,
А иной и не пив, начал пить.
Но ничем таким… и даже водкой
Весь кошмар насилий не залить.

Нет, ничем таким! И каждый понял:
Нужно слово общее найти,
Чтоб оно одело нас, как броня,
И вело по грозному пути.

Мы искали все его: в Нью-Йорке,
В Вашингтоне, в Лондоне, в Москве,
Партизан с винтовкой на пригорке
И боец, укрывшийся в траве.

Мы искали огненное слово,
Что придаст нам силы, знали — есть.
Находили, проверяли, снова
Открывали: слово это — месть.

Смерть убийце! Тлен! Уничтоженье!
Смерть принесший, жалости не жди.
Кровь за кровь! И кровь за униженье —
Ни тепла, ни света впереди.

Путь он бьется, убегает — рана
В грудь везде смертельная врагу.
Пулею, гранатой партизана
Месть его настигнет на бегу.

Убежит? Но грозная вендетта
Улицы Берлина озарит,
Бомбы пронесутся, как ракеты,
И подбросит зданья динамит.

И тогда и в этом страшном месте
Не спасут бандита дом его и мать.
От всемирной ярости и мести
Некуда скрываться и бежать.

Песня

Нет спасенья! Мы уходим.
Мы идем туда, туда
Где несчастью и невзгоде
Не бывать уж никогда.

Нет спасенья! Ну так что же.
Брат, налей, еще налей!
Единица чуть дороже
Бесконечности нолей.

Нет спасенья! Горе мимо!
Раз в весенней этой мгле
Нет ни друга, ни любимой
На оставленной земле.

Нет спасенья! Марш в дорогу!
Никаких иных затей.
Ни любимой и ни богу
Не понять моих путей.

4 июня 1942 г.

Песня Отечественной войны

Барабаны, гряньте
В Горьком и Коканде,
Гневом бушуя,
Улицы оденьте
В Ленинграде, в Шуе,
В Луге и Дербенте.

Клин, греми трубою
К бою! К бою! К бою!
Пусть повсюду брызнут
Ярости потоки,
На мою отчизну
Враг напал жестокий.

Шаг проверен. Так идти!
Все преграды прочь с пути!

Барабаны, гряньте
В Горьком и Коканде,
Смело в битву, братья!
На земле и море,
Пуля и проклятье
Гитлеровской своре!

30 лет спустя

— Ты хочешь знать, как дед ходил
На русских воевать?
С разбега мальчуган вскочил
К калеке на кровать.
— Взошла на крови наша быль!
Да, бой был — первый сорт!
Солдат фашистский (брось костыль)
Был не солдат, а черт.

— На целый мир своих вояк
Наш бравый фюрер вел…
Хотя одетый кое-как,
Но я со всеми шел.
Старуху встретил раз с дитей,
Ей штык — ему приклад.
Солдат фашистский, братец мой,
Не мамка — а солдат.

— Однажды мы в музей зашли…
Да, есть на что взглянуть!
Холсты, фарфор, а мы в пыли,
В грязи, в крови по грудь.
Вонзил в портрет я штык тупой —
Недурный был удар!
Солдат фашистский, милый мой,
Солдат! Не антиквар.

Раз с самолета под собой
Театр я увидал.
Его приметил бы любой —
Театр не так был мал.

Я бомбам люк открыл ногой,
Раздался только свист…
Солдат фашистский, друг ты мой,
Солдат — а не артист.

А как-то красного креста
Я знаки различил.
Больные? Кто там? Ни черта!
Я в цель снаряд пустил.
Взметнулся в небо взрыв горой
И все махнуло в ад.
Солдат немецкий, братец мой,
Не фельдшер, а солдат.

Еще приказ был взять Москву…
Ах, черт, болит нога…
Попал в ту пору наяву
Я к черту на рога.
Зато в деревне там одной
Накуролесил — страх!
Солдат фашистский, мой родной,
Солдат — а не монах.

Что ж ты задумалось, дитя,
В глаза не смотришь мне?
И трубку дед сосет, пыхтя,
В кошмарном роясь сне.
Все тот же губы шепчут звук —
Солдат, фашист… был век…
И за него кончает внук:
«Но не был человек».

Боец

Я умереть хотел бы так,
Чтоб пули мои пели
И все еще туда, где враг,
Трассируя, летели.

Я умереть хотел бы так,
Чтоб лег и враг без счета,
Но были б всё в моих руках
Две ручки пулемета.

Я умереть хотел бы так,
Чтоб от фашистских танков
Вокруг меня курился прах
Бессмысленных останков.

Я умереть хотел бы так,
Чтоб, кинув «мессершмитты»,
И там и тут легли кто как
Немецкие бандиты.

Я умереть хотел бы так,
Чтоб мой Союз был вечен
И был бы каждый в нем мой шаг
Бессмертием отмечен.

Я умереть хотел бы так,
Чтоб мир шумел страною
И вместо памятника танк
Пылал бы надо мною.

1943

Товарищу

Пусть замыслы твои разбиты в прах —
Их вновь построй, продумай вновь не раз.
Откинув малодушие и страх,
В последний час.

Пусть вкруг тебя лишь смерть, и пусть кругом
Поддержки не находит больше глаз —
Сумей достойно встретиться с врагом
В последний час.

Вперед! Вперед! И нет пути назад!
Таков Отчизны яростный наказ.
Исполни ж долг без стонов и бравад
В последний час.

Будь в схватке тверд и бейся за двоих,
Чтоб радио, сошедшее на нас,
Весть принесло о подвигах твоих
В последний час.

Месть затая высокую в груди,
Пройди, прорвись сквозь шквал огня, сквозь газ…
Умри — но победи
В последний час!

Врагу

Ты вторгся в славянские земли,
На наши напал города…
Зачем? Для чего? Не затем ли,
Чтоб сгинуть с земли навсегда?
Ты был под Парижем, в Белграде,
Варшаву и Лондон бомбил.
За смерть и насилья в награде
Представлен ты фюрером был.

Успехи тебя обманули,
Бессилен на юнкерсах груз,
Отныне советские пули
Повсюду найдут тебя, трус.

Отныне лишь красные звезды
Заметишь за тучами ты.
Взлетят, как живые, на воздух
Заводы твои и мосты.

Отныне ты мертвый, отныне
Подумай в последнем бою,
Подумай о том, кто в Берлине
Судьбу уготовил твою.
Ты все еще мечешься, ярый,
В безумном военном пылу,
Но чаще и чаще пожары
В твоем возникают тылу.

Уже полуголый, в отрепье,
Ты все еще рвешься вперед,
Но нет ничего тебе: пепел

Тебе предоставил народ.
Ты вовсе не грозный и львиный,
А волчий возглавил поход.
Сегодня смердящей лавиной
На запад отхлынул твой сброд.

Но ты не вернешься «нах хаус»,
Домой не отправишь добра.
Лишь взрывов увидишь ты хаос
И наше услышишь ура.
Нет, нет, ты совсем не «нах хаус»,
Ты в землю уйдешь, как домой,
И в былях возникнешь, как хаос
И в памяти встанешь чумой.

Комментарии

Книга «Лето» должна была стать третьей в творческой биографии Леонида Лаврова. Ранее выходили сборники «Уплотнение жизни» (М.: Федерация, 1931) и «Золотое сечение» (М.: Советская литература, 1933). Уже после смерти поэта, в 1966 году в издательстве «Советский писатель» вышел еще один сборник, составленный Николаем Асановым, под названием «Из трех книг» (далее — ИТК). В соответствии с названием он был составлен из произведений, входивших в первые два сборника и в сборник «Лето». Естественно, что не все стихи из «Лета» попали в книгу 1966 года, при этом опущены были, на наш взгляд, самые интересные — как минимум, с точки зрения формы — из них. Из стихотворений, вошедших в ИТК, некоторые были опубликованы не в первоначальном виде, а с учетом правки, выполненной в соответствии с указаниями одного из внутренних рецензентов —Александра Фадеева (рецензию см. в начале книги).

В настоящем издании, выполненном по авторской машинописи из архива В. В. Португалова, мы воспроизводим сборник «Лето» в том виде, как он был задуман Л. Лавровым. Тексты, публикуемые впервые, помечены в содержании звездочкой.

Пунктуация и орфография авторские; исправлялись только очевидные ошибки. Расхождения между текстом машинописи и текстами, опубликованными в ИТК, вызванные вынужденной редактурой, оговариваются в комментариях.

После начала Великой Отечественной Войны, видимо, питая надежду все-таки добиться издания книги, Леонид Лавров пишет несколько стихотворений на тему войны, предполагая поместить их в первом разделе сборника. Поскольку эти стихи ни композиционно, ни по уровню не соответствуют первоначальному замыслу, мы отнесли их в «Приложение».

Эпиграф

«Прежде всего, следует убрать претенциозный эпиграф ко всей книге» — из внутренней рецензии А. Фадеева (далее — А.Ф.).

«ино бо лето, ино же год» — из списка «Шестоднева» (толкования первых глав книги Бытия) Иоанна Экзарха Болгарского, сделанного в

1263 году Феодором Грамматиком (за указание источника благодарим Г. Г. Лукомникова). Цитата, возможно, взята Леонидом Лавровым из словаря Брокгауза и Ефрона, при этом год указан ошибочно.

МОЕЙ СТРАНЫ ЗДЕСЬ ВЗВЕЙТЕСЬ СТЯГИ... — в машинописи так и набрано: прописными буквами.

Еще да здравствуют леса... — в машинописи пометка А.Ф. к 6-й строфе: «Строфа плохая. Лучше сказать что-нибудь о хорошее о нашей стране. Не правда ли?» И конкретно к слову «Ура» — «Ни к чему это». В ИТК 6 и 7 строфы опущены.

Полеты — в машинописи авторская (?) карандашная правка «А ветер надуется, крЯкнет, свистнет...» (вместо «крИкнет», как в ИТК).

Утро — переработанный и сокращенный отрывок из IX главы «Записей о невозможном» (ранее опубликованных в книге «Золотое сечение»). До слов «Ваша нарезка в обратную сторону» — без сокращений. Далее в «Золотом сечении» так (полужирным выделены убранные строчки):

....
Председатель приходит взглянуть на работу.
— Десять без девять,— мычит он. — Что слышно?
— Даете лошадей, товарищ начальство!
— Вот как,— оживает он,— вот как, ячейка...
Ячейка, назначает вас бригадиром уборки.
Это все Вероника,— говорит он, смущаясь

Утро открывает прохладе все краны,
Руки мои держат вожжи, как счастье.
— Зиновий, — говорю я, — Зиновий, ты школьник,
Чему ты смеешься, товарищ Зиновий?

Далее до конца без изменений.

В машинописи в первой строке «ЛичиночныЕ» (Е вписано карандашом), в отличие от публикации в «Золотом сечении».

Вероника — X глава «Записей о невозможном», без изменений.

Карамелью пахнут поля... — отрывок из V части поэмы «НОБУЖ», ранее опубликованной в книге «Уплотнение жизни».

Здоровье — в ИТК с посвящением Сельвинскому.

Имеются также небольшие словесные расхождения машинописи с ИТК, где в 12 строке вместо «собою» — «собой», а в первой строке последней строфы вместо «в исступленьи» — «сумасшедшим».

Песня — в ИТК опубликован существенно переработанный (по сути — совсем другой) после начала войны вариант этого стихотворения (у нас он вошел в «Приложение»).

Пейзаж — в ИТК несколько другая строфика и пунктуация; кроме того, изменены в соответствии с замечаниями А.Ф. две последние строки. В машинописи к этим строчкам карандашом приписано: «Переделать. Это юродски по Заболоцкому», далее приведен окончательный вариант:

В которых виден кое-где
Мир, отразившийся в воде.

и написано: «2-ой вариант в журнале».

По краскам августа — в машинописи карандашом замечания А.Ф.:

К строке «Нарочитая грубость объятий» — «Эту фразу на месте автора я изменил бы. Это не грубость, а другое» (в ИТК строка, тем не менее, сохранена).

К строке «Но я не люблю вас больше, моя бесконечно любимая» — «Не нужно ерунды» (в ИТК строка выпущена).

К последним словам: «твоих пятилеток» — «Пошло, надо эту «терминологию» заменить» (в ИТК «терминология» осталась).

Кроме того, в ИТК вместо «золотых розог», как в машинописи — ошибочно «золотых рагоз». Золотая розга — многолетнее травянистое растение семейства астровых.

Осень — отрывок из XIV главы «Записей о невозможном».

Воздух каждую из гланд сковал… — в машинописи карандашное примечание А.Ф.: «Бессмысленные, мнимо-«настроенческие» стихи». К последним 5—6 строчкам поставлен знак вопроса. Тем не менее, в ИТК стихотворение опубликовано полностью.

Прыжок — в ИТК: «А люди-то, милыЙ!» (вместо «милыЕ»).

Хитрость — замечание А.Ф.: «Юродское стихотворение и потому двусмысленное». Тем не менее, в ИТК вошло, с пунктуационными расхождениями.

Воздух — «Вакансоновской цепью несется река»; правильно: «Вокансоновской». Вокансон (Vaucanson) Жак де (1709—1782), французский механик, изобрел в т.ч. ленточную цепь для передачи вращательного движения.

Куда глядят глаза — вопрос А.Ф. к слову «благополучие»: «А разве вы этого ищете в жизни?» К последней строфе и последней строчке: «Мура!». В ИТК стихотворение не вошло.

Лейтенант — в ИТК без четвертой строфы.

Щюцкор — член финского военизированного ополчения (существовало с 1917 по 1944).

Станция счастья — замечание А.Ф.: «Нет цельности. И уж очень под Сельвинского».

Содержание


Летний сад
isbn 978-5-98856-122-4
9 785988 561224